Иван Лукаш

БЕДНАЯ ЛЮБОВЬ МУСОРГСКОГО



Иван Лукаш

БЕДНАЯ ЛЮБОВЬ МУСОРГСКОГО

2-е ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ



Издание Русского книжного дела в США

Victor Kamkin, Inc.

Washington, D. C. 1967.

Настоящая книга отпечатана
в количестве 1500 экземпляров.

Publisher: Victor Kamkin, Inc.
1410 Columbia Road
Washington, D. C. 20009, U.S.A.
Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

ПОЖЕЛТЕВШАЯ ЗАПИСКА

Пожелтевшая записка 1883 года, найденная в бумагах петербргского художника с приколотой газетной заметкой об одной из «арфянок», уличных певиц, бродивших в те времена по питерским трактирам, — вот что в основе этой книги.

Это не описание жизни Мусоргского, а роман о нем, — предание, легенда, — но легенда, освещающая, может быть, тайну его странной и страшной жизни.

Иван Лукаш.

ГОСПИТАЛЬ

Молодой офицер в расстегнутом темном мундиве, с полотенцем, перекинутым на руку, тихо шел коридором военного госпиталя.

Ночное молчание, полное тупого напряжения, горячечных бормотаний за белыми дверьми, затаившаяся госпитальная тишина, в любую минуту готовая прорваться воплем страдания, делала походку молодого офицера особенно осторожной и чуткой.

Он двигался неслышно по плитам коридора, точно желал стать бесплотным в этой темноте, накаленной страданием.

Никаких случайностей, «происшествий», на казенном языке, — ночное дежурство не обещало, и офицер, умывшись, собирался устроиться на ночлег в дежурной комнате на жестком и плоском, как черный скелет, диване.

Он вошел в дежурную, без шума, прикрыл за собою высокие двери. В комнате горел газовый рожок. Фуражка и сабля висели на спинке промятого кресла красного дерева, там же была брошена гвардейская светлая шинель.

Другой газовый рожок горел у смутного, поцарапанного зеркала. Перед зеркалом офицер стал оправлять белокурые волосы, влажные от мытья, молодым,

сильным движением он откидывал вьющиеся пряди со лба.

При туманном свете рожка, ему странно понравилось в зеркале его лицо, хотя обычно, почитая себя уродом, рожей, он заглядывал в зеркало только по крайней необходимости.

Теперь лицо показалось ему как бы чужим, нежным, и удивительно привлекательным.

Это было приятное и свежее русское лицо, без резких черт, слегка туманное, такое лицо, где нет запоминающихся подробностей, но все необыкновенно привлекательно мягкой простотой. Хорош был широкий, светлый лоб, а лучше всего было сочетание серых глаз с белокурой головой.

Он легонько насвистывал, разглядывая себя с любопытством, и его серые глаза, внимательно и строго, так следили из зеркальной мути, как бы намечался перед ним в глубине иной человек, не он, а другое непонятное и странное существо в темном офицерском мундире, с круглыми эполетами в мерцающей позолоте, с лицом таинственным и прекрасным.

Вдруг кто-то покашлял за спиной.

Офицер неприятно поежился и обернулся с неприязнью, точно был застигнут за таким сокровенным, чего не должен подсматривать никто.

На подоконнике полукруглого, казенного окна сидел тот, кого офицер не заметил, когда вошел в дежурную. Это был молодой человек в сюртуке военного медика. Закинувши ногу на ногу, он покачивал ногой, обтянутой узкой штаниной на штрипке.

— Извините, что я покашлял. Я нарочно, чтобы обратить внимание, — сказал незнакомец, потирая маленькие белые руки. — Но неправда ли, вы насвистывали Шуберта?

— Шуберта, — подтвердил офицер с небрежной досадой.

— Опус 77, неправда ли, номер пятый?

— Пятый.

— Я очень люблю эту фразу у Шуберта. Только вы там, в переходике, извините, подвираете.

— Я не подвираю, а нарочно. Ищу другого перехода.

— Как так?

— А так. Ведь Шуберт, что сделал в пятом номере? Он услышал на улице, где-нибудь в подворотне, венскую гармонику и какой-то неуловимый ее переход, неожиданная волна дыхания, дали ему, можно сказать, тему для целой симфонии в две строки.

— Очень хорошо-с, симфония в две строки...

При этом медик спрыгнул с подоконника, четко постучал каблучками.

Это был сухенький молодой человек с бледным лицом и остреньким носом, черноволосый, с белыми ручками, которые он быстро, как-то по кошачьи, потирал. На нем был опрятный сюртук, его мягкие сапожки были начищены, блестела серебряная цепочка часов с ключиком на его черном глухом жилете, с крошечными пуговками. «Немчик, поди», подумал офицер.

— Разрешите представиться, — вежливо сказал медик. — Дежурный лекарь Бородин, Александр Порфирьевич Бородин.

— А я думал, вы из немцев, — усмехнулся офицер, подавая ему руку. — Я тоже дежурный по госпиталю, Гвардии Преображенского Мусоргский Модест, по батюшке Петрович.

— Модест, редкое имя... По-французски — скромный.

Маленькая рука медика заледенила на мгновение большую теплую руку Мусоргского.

Неожиданный ночной компанион не понравился ему. Мусоргский думал, что умеет чувствовать, определять людей с первого взгляда. Военный лекарь с его опрятным холодком, показался сухарем и педантом.

— Понимаете, — сказал Мусоргский небрежно, — я не подвираю, а ищу в музыкальной строке Шуберта нашего русского перехода.

— Но стоит ли немецкую тему ломать на русский лад?

— Стоит. Тоска в ней по какой-то святыне, печаль необыкновенная, вздох этот, для всех людей одинаков, что русские, что немцы...

— Очень хорошо. Я согласен, вы любите музыку.

— Люблю. И мне обидно, когда о ней толкуют люди...

Он хотел сказать с сердцем «люди ни черта в ней не смыслящие», но спохватился.

— ...без достаточных оснований.

Маленький медик тонко улыбнулся:

— Я вас понимаю. Я тоже люблю музыку. И Шуберта. Я его очень знаю. Вы прекрасно сказали, что его «Своеобразные танцы», не правда ли, так можно перевести его заметки из записной книжки, истинные симфонии в две строки... И потом, видите ли, я сам...

Голос медика застенчиво осекся, стал неуверенным, он со смущением потер руки:

— Я тоже пишу музыку.

Мусоргский посмотрел на него сбоку, с тем же смущением потер руки и сказал с застенчивостью:

— Вот случай, какое совпадение... Кто бы мог думать: какой-то офицер и, простите, какой-то медик...

— Пожалуйста, пожалуйста, — лекарь весело закивал головой.

— Встретятся на ночном дежурстве в солдатском госпитале и оба окажутся музыкантами. Вообще это так редко, так непринято говорить о музыке, гонимо, смешно... Кому у нас надобна музыка... У нас музыка только барская блажь... Но знаете, ведь я тоже музыкой грешен: пишу...

После нечаяного взаимного признания, молодые люди мгновение говорили вместе. Откровенность сблизила их, уже не дежурный лекарь, черноволосый, в опрятном военном сюртучке и не дежурный офицер с влажной белокурой головой, чужие друг другу, стояли у замерзшего казенного окна, а два близких человека, — как два заговорщика, — понимающие все с полуслова.

Не особенно хорошо слушая друг друга, они говорили о Шуберте и его «Немецких танцах», какие недавно оба читали. Потом о «Рождественских рассказах» Шумана, с вечной встречей двух их героев: Воина и Мечтателя, причем Мусоргский весело подумал: Я, конечно, Воин, а этот лекарек, привидение из потемок, конечно, Мечтатель»: они поспорили о Бетховене, не поняли друг друга, что именно хотели сказать, и снова о глубокой и мягкой гармонии Шуберта.

Со стороны могло казаться, что у огромного окна, за которым сияла морозная ночь, стоят, размахивая руками в торопливом бреду, два умалишенных. Они так много хотели сказать, особенно Мусоргский, что все их слова были невнятны и они сами не понимали ясно, что именно говорят. В путаной, горячей речи, они точно жаждали опередить самих себя, точно хотели родить то духовное существо, какое только еще брезжило в них, какое еще будет когда-нибудь, или не будет вовсе.

Лицо Мусоргского горело. Бородин иногда смеялся нервным смешком, с прозрачным, прохладным звуком.

Мусоргский с восхищением смотрел на маленького медика, уже считал его замечательнейшим музыкантом, тончайшим человеком.

— Посмотрите, какая ночь, — в мгновение молчания сказал Бородин. — Я до вас сидел у окна и смотрел. Только в Петербурге бывают, по моему, такие ночи... Какое морозное величие, бесконечное холодное сияние, и этот зеленоватый лунный дым, проходящий, как стада видений...

Они умолкли.

За госпитальным двором тянулись низкие корпуса казарм, на крышах светился снег. Как будто в звучащей немоте застыла колоннада, фронтон, а дальше, над белым океаном крыш, где бродил дым стужи, страшно и тайно сияло зеленоватое ледяное небо.

— Замечательно, — сказал Мусоргский. — Вот ночь. Вся звучит. О чем же, о чем, непонятный язык этой обмерзшей немоты, величия?

— Не знаю, но тоже слышу, — прошептал Бородин. — И, кажется, вот, вот догадаюсь о чем... Никогда и никому не догадаться... Это и есть музыка.

— Музыка? Я, доктор, во всем, всегда, слышу музыку, и мне кажется, что со мной должно случиться что-то необыкновенно прекрасное... И в этой ночи и в нас двоих, и как сияет снег, и что у вас там в палате, умирающий солдат стонет, все это, весь мир, люди, все живое и мертвое, одна музыка... И если бы узнать ее тайное значение...

— Зачем знать, все прекрасно и так... Однако, какой у вас приподнятый поэтический тон.

Маленький медик позвенел серебряной цепочкой часов, щелкнул крышкой:

— Вот, видите, вашей тирадой о солдате вы напомнили мне долг дежурного лекаря в военном госпитале. Мне пора на ночной обход.

— Я с вами...

Мусоргский с пылающим лицом, желал в ребяческом порыве что-то высказать лекарю, чего толком не знал сам.

— Извольте, пойдем, сначала к горячечным, потом к венерикам, — ответил Бородин, застегивая все медные пуговицы медицинского сюртука.

Во втором военном сухопутном госпитале, как и во всех госпиталях, стены поверху были выбелены, а понизу закрашены серой краской. Стекла окон внизу тоже были забелены.

В палатах, где на железных койках, под темными одеялами, лежали люди, было только два угрюмых цвета, темно-серый и белесоватый, точно они были цветами самой смерти.

В той палате, куда вошел с медиком Мусоргский, в углу, была растоплена громадная кафельная печь, на железной полосе у печи дрожали красноватые отсветы. В палате, в духоте, пахло нагретым железом и больным человеческим телом, сухо и горько. В другом конце, за рядами коек, горел у медицинского шкафа, над столом, фонарь, тоже разогретый, душный.

Одни больные лежали вытянувшись, с головами под суровыми холщевыми простынями. Они показались Мусоргскому покойниками: они спали. У других были развязаны на груди тесемки солдатских посконных рубах, они быстро стонали, бредили.

Мусоргский невольно остановился у койки рослого солдата. Его исхудавшие, большие, темные руки лежали на белой простыне, запавшие глаза были крепко зажаты. Это был костлявый пожилой солдат с лысею-

щим лбом, красивый, горбоносый, похожий на императора Николая Павловича. Пожилой солдат твердил, не умолкая, затаенно, с мягкой укоризной:

— Эх, Маша, как же так Маша...

Только это было внятным в его раскаленных, непрерывных бормотаниях.

В самом конце палаты с койки приподнялся, внезапно встрепенувшись, молодой солдат, сказал отчетливо, с какой-то жалобной торопливостью:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие.

Мусоргский дрогнул. Глаза молодого жарко светились, темные волосы были спутаны, влажны.

— Он не вам, он бредит, — прошептал медик.

Они подошли к столу.

Лазаретный служитель в шинели, накинутой на холщевую рубаху, в подштанниках, вскочил со скамьи, под фонарем.

У служителя было нерусское сухое лицо, мохнатые седые брови, небритый подбородок. По его цокающему шепоту Мусоргский понял, что старик из поляков. От служителя тяжело несло старческой кислятиной, теплой водкой и табаком. Бородин, нагнувшись, начал что-то помечать пером на листках, Мусоргский, с нескрываемым страхом, недоумением, обводил взглядом палату, стол, с ободранной промокательной бумагой в чернильных кляксах, большой календарь, на серой стене «генварь 1856 года», черноволосую склоненную голову медика, спину старика-служителя, фонарь, — и все казалось ему значительным, необыкновенным.

То, что он говорил горячо и плавно о музыке, в чем убеждал медика и себя, теперь казалось Мусоргскому ненужным и стыдным. Ничтожным стало все перед этими железными койками, серыми стенами, коротким,

душным, едва слышным человеческим дыханием, перед разогретой, нещадной, железной смертью.

Молодой офицер побледнел. Ему стало тошно в натопленной палате.

Когда они шли назад между коек, костлявый солдат, похожий на императора Николая Первого, сцепивши темные руки на простыне все бормотал затаенно и укоризненно:

— Маша, эх, Маша, чего же ты, Маша . . .

— Кандидат, — прошептал Бородин, кивнувши на костлявого.

Мусоргский не понял:

— Кандидат?

— Да. В мертвецкую.

Теперь Мусоргскому казалось, что в палате слышен один тугой звук, как будто натянутой, горячей струны. Струна вибрировала невыносимо.

В коридоре, где было прохладнее, Бородин что-то спросил об оперном театре, Мусоргский не ответил.

С молодой впечатлительностью, он думал теперь, что палата, откуда они только что вышли, и есть настоящее, а не их ничтожная болтовня.

Мусоргскому еще не было двадцати. После закрытого дворянского пансиона и школы гвардейских прапорщиков, он только что вышел в полк офицером. Молодой барич, сын помещика, он был, как дорогой цветок, выращенный в теплице. И как в тепличном цветке, в нем было что-то нежное, слабое, чему не выдержать первой же непогоды. Приветливое изящество и французская речь, с особой парижской картавостью, были, кажется, самым главным в его воспитании: прежде всего быть человеком своего круга, гвардейским офицером, хотя на это и не достает денег, уметь носить мундир и ловко и тонко обращаться с людьми, особен-

но с женщинами в гостиных, а потом уже, где-то на втором плане, все другое, неважное: музыка, какой он увлекся еще в дворянском пансионе, весь этот странный человеческий мир, и сама его человеческая душа.

Чувство жалости и вины, глубокое, захватывающее, всегда томило Мусоргского перед темным простонародьем, солдатами, каким-нибудь старичком-извозчиком, измерзшим на своих санках, перед пропившимися нищими в рваных шинелях, коченеющими под дождем, мокрым снегом, переступающими с ноги на ногу в размокших башмаках, перед шарманщиком или мальчишкой из мелочной лавки, с отмороженными руками и двумя синими пятаками, выеденными на щеках морозом, перед всеми чужими, непонятными, темными людьми с улицы, жильцами углов и подвалов, перед теми, кто копошился, как-то жил, любил, бедствовал, радовался, спивался или скопидомничал, перед той человеческой черныю, какую он, Мусоргский, не знал, трудно понимал, в душе всегда страшился и называл, как у Иова, людьми без имени, отребьем земли.

Он чувствовал себя виноватым перед ними за то, что он не такой, что у него пусть бедная, но все же теплая квартирка на Обводном, денщик Анисим, что вот он офицер, барин, а другой человек совершенно такой же, как и он, и лучше и достойнее его, канючит у него копейку, поджимая замерзшие ноги в опорках.

Этого он не понимал и не принимал в жизни, это оскорбляло, пугало его, точно он один был виноват перед отверженными за всю жизнь, несправедливую, неподдающуюся им.

Ему стало нестерпимо стыдно за всех, за Бога и за Россию, за царя, за блестящих и парадных господ, за себя и за маленького медика, за то, что они только что глупо болтали о музыке, — стыдно стало, что ни-

кто никогда уже не узнает, какая такая душа чего-то ждала и о чем-то тосковала у того красивого гренадера, великана парадов, звенящей военной куклы в медном кивере и белых лосинах, умирающего на лазаретной койке с горячим бредом о какой-то Маше.

Бородин с удивлением посматривал на собеседника, ставшего вдруг рассеянным и подавленным. К венерикам Мусоргский не пошел. В дежурной, после обхода, медик справился об общих петербургских знакомых. Он назвал фамилию Орфанти, куда был приглашен на музыкальный журфикс во вторник. Тогда только Мусоргский оживился. Оба они устраивались на плоских, как камень, казенных диванах. От имени Орфанти сердце Мусоргского стукнуло тревожно, он покраснел в потемках.

Откинувши шинель, которой было прикрылся, он сел на диван и сказал в темноту:

— Вы знакомы с Орфанти?

— Намедни нас познакомили.

— С Елизаветой Альбертовной?

— Нет, покуда только с ее батюшкой, Альбертом Ивановичем . . . Говорят, музыкальное семейство. Музицируют.

— Да, музицируют, — ответил Мусоргский, снова ложась и накрываясь шинелью. Но от имени Лизы заныло сердце.

Бородин вдруг приятно, прохладно посмеялся в темноте.

— Вы чего? — тихо позвал Мусоргский.

— Этот Орфанти из итальянцев. У него голова старого гениального артиста, а торгует, кажется, всю жизнь салом и пенькой. И как это скучно, серо, выходит по-русски: Альберт Иванович. Нелепо. А по-италь-

янски звучит, как литавры: Альбертино Джиованни Орфанти.

Медик как бы прочел в потемках мысли Мусоргского. Отчество Лизы, именно отчество, всегда как-то томило его, казалось нелепым и холодно-смешным: точно Алебастровна.

— Вы правы, — минут через десять сказал Мусоргский, приподнимаясь на локте.

Медик не ответил, может быть, спал.

ЛИЗА

Конечно, о музыке думают меньше всего, она самое неважное, что есть в настоящей жизни. Что может быть нелепее, чем музыкант, не военный трубач, капельмейстер или тапер для танцев, а музыкант, сочиняющий что-то.

Все это верно. И все-таки музыка гнездится всюду. В каждой человеческой душе всегда поет что-то, зовет, и как часто в домах, сверху до низу, смутно роится и звенит музыка: на чердаке тромбонист, где-то рояль, пониже худосочный мальчишка в матроске с безнадежными, как осеннее небо, экзерсисами на скрипке. В подвале поет прачка, в дворницкой дворник пиликает на гармошке.

Он пиликает в сумерках часами, невыносимо, всего две-три ноты, но именно в этом и есть подлинная музыка, музыканту так и надо отдаваться до самозабвения, до тихого исступления, раз уловленному ритму.

Мусоргский на проспекте покрепче закутался в шинель, пробормотал с усмешкой:

— Здорово, до дворницкой добрался . . .

Зимний вечер, стылый и темный, был неуютен. В тумане, тяжело, точно загнанные, дышали извозчичьи лошади. Со взморья, ледяными порывами поднялся

низкий северный ветер. Звонили к вечерне, ветер разносил пустынный, как бы стынущий звон.

Музыка гнездилась, как думал Мусоргский, и в богатой квартире владельца экспортной конторы на Васильевском Острове, Альберта Ивановича Орфанти.

Орфанти был не итальянцем, а южным австрийцем. Его крупная голова, седая, пышноволосая, была, можно сказать, величественна, внушали уважение его белые баки и холеные крупные руки, перебиравшие на бархатном жилете брелоки и печатки золотой цепочки. По виду он был артист и министр вместе, на деле же разбогатевший иностранный негоциант. Говорил он с немного сладким акцентом.

В его дочери смешалась русская, австрийская и, может быть, итальянская кровь и такое сочетание создало существо удивительной красоты.

Эта девушка во всех движениях, в том, как наклоняла голову, как садилась, распуская с приятным тихим шумом шелковый кринолин, как шла, как смотрела спокойно и чисто, глазами полными света, напоминала Мусоргскому Мадонну. Он ее так и называл «Мадонна Орфанти». Нечто холодно-бесстрастное, глубоко-затаенное, утихшее, было в красоте Лизы. На ее девичьей груди дрожал изумрудный католический крестик.

Мусоргский думал, что любит Елизавету Альбертовну безумно и навеки. Уже несколько недель он думал так с наивным восхищением.

Но иногда шевелилась в нем недоверчивая тоска. Иногда ему казалось, что он только убеждает себя, что любит Елизавету Альбертовну, а по-настоящему все холодно в нем, немо и тягостную скуку чувствует он около этой девушки.

Ее спокойные движения, сияющие глаза, и то, что ей нравятся музыканты, каких недолюбливал он, блестящие и шумные итальянцы, вкрадчивый Шопен, или Лист, похожий на миллионы разбитых осколков, на стекляшки, с их бездушными сверканиями, — иногда все казалось ему в Лизе равнодушной красотой мраморной и скучной Мадонны.

Но кроме такого Листа, такого Шопена — концертных, — как он иронически называл их, был Лист Си-минорной сонаты, оратории Святой Елизаветы, и был Шопен Баллад. И это было так же прекрасно, как инвенции Баха, как могущественное звучание Токкаты, или фантастическая симфония Берлиоза. «Это он сам, — думал Мусоргский, — такой бездарный, у него такая глухая, смутная судьба, что он не слышит в Лизе Орфанти музыку Святой Елизаветы» . . .

Сомнения мучили Мусоргского, он чувствовал себя несчастным и негодяем, особенно, когда приходилось вежливо поддакивать Альберту Ивановичу, слушая его вздорные, самоуверенные рассуждения о театре, композиторах, Парижской опере.

Орфанти, перебирая великолепной рукой золотые брелоки на жилете, говорил, действительно, вздор. Он завел в доме музыку и вечера с музыкантами по одному уважению к памяти покойной жены, русской, Марии Владимировны.

Орфанти был занят коммерческими делами, вывозом пеньки и льна, кораблями, он всегда был озабочен тем, чтобы в его доме все было на самую лучшую европейскую ногу, сыто и тепло, покойно, удобно, красиво, чтобы дочь могла выезжать каждый год за границу, чтобы его дочерью могли любоваться такие же сдержанные и полные достоинства иностранные купцы, как он, а кроме того, — единственно настоящего и единст-

венно важного в жизни, — он не прочь был раз в неделю, с хорошей сигарой, послушать игру Лизхен, конечно, необыкновенную, конечно, замечательную, и за одно всех этих молодых русских господ, бедняков-медиков, мнящих себя великими музыкантами. Такие же вечера, с музыкой, как был уверен Орфанти, устраивала бы Мария Владимировна. Когда-то добродушный Альберт Иванович, в потемках, из глубины удобного кресла, забывши о сигаре, на которой наслоился ворох душистого тлеющего пепла, любовался женой. Она чаще всего играла Бетховена, точно молилась. Так же, из глубины кресла, с сигарой между красивыми крупными пальцами, слушал теперь Альберт Иванович игру дочери.

Мусоргскому иногда казалось, что в неторопливых и великолепных движениях Альберта Ивановича есть к нему равнодушное презрение и презрительное подозрение. Как будто богатый коммерсант уже оценил Мусоргского, что вот-де молодой офицеришко, петербургская голь из школы гвардейских прапорщиков, подбирается к его Лизхен, чтобы устроиться на ее денежках и бездельничать со своей музыкой.

Мусоргского это мучило, бесило, но больше всего мучили Мусоргского тягостные сомнения в любви к Лизе.

Точно холодное пятно тумана застилало душу. А вдруг он не любит, а только рассуждает о любви, так же бездарно и бессильно, как не живет по-настоящему, а только рассуждает о жизни, истине, музыке. На деле, может быть все так и есть, как подозревает ее величавый папаша; петербургский офицеришко, подбитый ветром, просто хочет выбраться на денежки Орфанти в сытое, любующееся собой довольство.

«А может, я и правда, самый ничтожный, самый подлый подлец, какой только есть на свете»...

С растерянной улыбкой Мусоргский даже остановился на мгновение. Нет, он любит Лизу, как ни один человек на свете не любил девушку, и он создаст для нее прекрасную жизнь, необыкновенную.

Правда, вот только в двух комнатах на Обводном канале, на заднем дворе, с одной черной лестницей, с Елизаветой Альбертовной жить нельзя никак. Надо будет, стало быть, искать модную квартиру, потом прислугу, чего доброго, этакого лакея в белых перчатках, обстановку.

От самых слов «квартира», «обстановка», «прислуга» ему делалось неловко и скучно, точно он взваливал на себя пыльную тяжесть. И потом, чего он рассуждает, чего копается в душе, ведь они толком слова не сказали друг другу, о своих чувствах. Верно, не сказали, но все равно, он чувствует, что кругом все уже почитают их чем-то связанными, смотрят на них так, точно между ними какая-то тайна или что-то такое не вовсе ловкое, о чем лучше до поры до времени помолчать.

А виновата во всем Людмила Ивановна Шестакова.

Младшая сестра Глинки, Людмила Ивановна, пожилая, вечно в темной турецкой шали и шелковой лиловой кофточке со стеклянными пуговками, казалась ему светящейся живой частицей самого Глинки, прекрасного музыканта, трогательного и гармонического. Даже в самом имени Глинки было что-то трогательное, как «Иже херувимская» к концу обедни.

Людмила Ивановна, ласковая, немного глуховатая, с молочно-голубыми глазами, какие, вероятно, были и у ее брата, с крошечными, бескровно-белыми и робкими руками, в голубых жилках, тоже, вероятно, как у

брата, была для молодого Преображенского офицера, помешанного на музыке, как бы живой святыней.

Это Людмила Ивановна ввела его в дом Орфанти, это она со своими стеклярусами и турецкими шалями, как самая обыкновенная мещанская сваха с Песков, помогала их игре в четыре руки при свечах, оставляя их вдвоем в гостиной, именно она создала вокруг него и Лизы воздух тайны, чего-то скрытого до поры, и неловкого.

Продрогший Мусорский шел уже по Василеостровскому проспекту. Мерцали кое-где потускневшие от стужи фонари.

Звон ко всенощной от Андрея Первозванного гудел пусто и холодно, как неуклюжие полые шары. Мусоргский кусал губы и злился на весь свет, на сестру Глинки, и на старика Орфанти, и больше всех на себя. Надо вернуться домой, написать Лизе о своих сомнениях, о пятне тумана.

Но он не вернется, куда ему, вот уже их крыльцо, панель, как обычно, посыпана хрустящим красным песком, и он ничего не скажет Лизе, он подлец, трус. И свершится то неминуемое, невыносимо скучное: женитьба, модная обстановка, покровительственный тесть.

А он всегда ждал, предчувствовал, что его жизнь будет необыкновенной, грозной, страшной. Что-то великое, сжигающее, ждет его, чему он готов отдать себя.

Но будет, оказывается, богатая жена с алебастровым отчеством и с холодным, как сверкающие стекляшки, Листом.

Бледный, иззябший Мусоргский со злобой дернул звонок на подъезде Орфанти. Старая горничная, чопорная немка в белой наколке и в байковом платке, накинутом на плечи, отворила ему. Он вошел в теплую

прихожую, где горели свечи у зеркальных щитков и знакомо пахло сытостью, теплыми духами, сигарами.

Внял неба содроганье, горний ангелов полет, путались, стучали стихи Пушкина, когда он отдавал немке офицерскую шинель. От стихов, пришедших на память, стало невыносимо печально, до того, что он растерянно остановился у вешалки, уже заваленной шубами и мохнатыми высокими цилиндрами. Так с ним-то, стало быть, никогда не будет, чтобы он услышал неба содроганье, горний ангелов полет. Что же такое он делает, зачем он приходит сюда, когда это вовсе не его жизнь, не его судьба, почему же он сам, слабовольный, ничтожный, отказывается от того, что предчувствовал еще в детстве.

Между тем, Мусоргский, совершенно бледный, с горячими серыми глазами, входил в гостиную, чувствуя себя самым несчастным человеком на свете. С рассеянной, жалобной улыбкой он излишне часто оправлял белокурые волосы и не замечал с кем здоровается.

В гостиной было сегодня много народа. От сигарного дыма ему стало тошно. Какой-то англичанин с бодрым лицом сказал что-то приветливо и непонятно. Он молча пожал ему руку и вспомнил, что у Орфанти обещал быть сегодня тот маленький медик, с которым он болтал на ночном дежурстве. Он стал искать глазами медика в обширной гостиной.

Тихо шурша кринолином, к нему подошла Елизавета Альбертовна. Чистый и спокойный свет ее девичьих глаз на мгновение залил его. Он увидел сияющий лоб, продолговатое и точно освещенное изнутри лицо и снова залюбовался, восхищенный.

— Кого вы так ищете, Модест Петрович? — сказала Лиза, отнимая руку, которую он, любуясь ею, задержал излишне долго в своей.

— Одного медика, военного лекаря Бородина, сказывал будет у вас, — ответил Мусоргский, и подумал: «Как она удивительно хороша, как прекрасен воздух, вокруг нее. Нет, я люблю ее. Господи, Ты все видишь, я люблю ее».

— Александр Порфирьевич был с извинением, — сказала Лиза. — Такая жалость, у него сегодня дежурство. Убежал.

— Досада, что убежал.

Мусоргский рассеянно сел к роялю.

— Правда, досада, — повторил он и вспомнил ночь, госпиталь, их нелепые, горячие речи, костлявого гренадера и пятый номер 77-го опуса Шуберта, подвинул поудобнее вертящийся черный стул и стал играть, вслушиваясь в мелодию Шуберта. «Как странно, — думал он, — вот здесь явно поет чардаш, но почему такая тоска, вот светлый хор, церковный орган, но почему же здесь туман вползает в покои, полные солнца и радости, — зловещий, слепой, — как странно, что же, наконец, значит это, о чем ты, милый, добрый человек рассказываешь, откройся мне, ради Бога».

Мусоргский видел перед собой светящееся, прекрасное лицо Лизы, оно стало как бы бесплотным, отошло в призрачный туман, и удивительно сочеталось с тем, что он искал, что желал услышать, где-то внутри, за самыми звуками Шуберта.

Лизе особенно казался трогательным белокурый молодой офицер именно в такие минуты, когда он, с посветлевшими глазами, со слегка разгоревшимся лицом, вслушивался во что-то свое за роялем и смотрел, и на нее и куда-то далеко мимо нее, отчего слегка косил его левый глаз.

— Как странно все, — тихо сказал Мусоргский.

— Что странно? — наклонилась к нему Лиза, оправляя на рояле свечу.

— Все. Вся наша жизнь. И вот, что Шуберт ослеп. Как странно.

— Разве Шуберт ослеп?

— Да.

— Правда. Странно и страшно. Я понимаю, о чем вы говорите.

В гостиной давно понизили голоса, слушая игру русского офицера. Потом Лизу поманил со своего кресла отец, Лиза отошла. Оказывается на журфикс обещал приехать важный немец, известный благотворитель, миллионер из Риги, и отец добродушно и снисходительно попросил Лизу полюбезничать с ним.

Немец из Риги, большой, с одышкой, во фраке с белой грудью, опираясь на трость с тяжелым золотым набалдашником, уже входил в гостиную. Мусоргскому, умолкшему на мгновение, торопливо похлопали, не без опасения, как бы он не начал играть снова. От вежливых и торопливых хлопков Мусоргскому стало стыдно. Он встал.

— Метель на дворе, — бодро сказал кто-то.

«Вот это хорошо, метель, — подумал Мусоргский. — Хорошо, что Лиза отошла куда-то, точно исчезла, хорошо, что он совершенно один, и никому здесь не нужен. Сейчас он уйдет незаметно, и это тоже хорошо. Он скажет правду Лизе, напишет ей».

Никем незамеченный, он вышел в прихожую, заваленную шубами. Туда доносило из гостиной смутный говор. Низкими поволоками стоял сигарный дым.

Мусоргский торопливо рылся, отыскивая шинель, он пристегивал саблю, когда в прихожую, шелестя шелком, вошла Лиза, она заметила его уход и только

отделалась от рижского патриарха, примчалась тревожная. Она сама была смущена своей решительностью:

— Почему вы уходите?

— Так надо, Елизавета Альбертовна, так лучше, разрешите, я вам напишу.

— Напишете, о чем? Постойте же, скажите, о чем вы хотите написать? И потом, разыгралась такая метель.

— Нет, нет, я пойду... Прощайте, я хочу сказать до свидания. Простите меня.

Неожиданно, он взял обе руки Лизы и на мгновение прижался к ним разгоряченным лицом.

Когда он ушел, недоумевающая девушка постояла у дверей. Ей очень хотелось открыть двери на лестницу, позвать «Модест Петрович», она знала, что он вернулся бы к ней бегом, через две ступеньки.

В прихожую вошла тетка Лизы, худенька, в круглых очках и в чепце, за двадцать лет научившаяся в России только двум-трем русским словам, какие все равно коверкала немилосердно.

— Детка моя, почему ты здесь? — позвала тетка по-немецки.

Лиза обернулась от дверей, поправила на груди изумрудный крестик и спокойно ответила, тоже по-немецки:

— Я, тетя, провожала господина Мусоргского...

МЕТЕЛЬ

На удице, у подъезда, снег с такой яростью кинулся Мусоргскому в лицо и спину, что он проворчал с досадой: — О, черт, куда я потащился, вот, правда, дурак, — и зашагал в глухо шумящую тьму.

«И с чего я нагородил Лизе вздору о Шуберте? — со стыдом подумал Мусоргский. — Что ослеп . . . Это я хотел так — трагически — вообразить свою собственную жизнь» . . .

Вихри снега, сталкиваясь, все стерли в колыханиях. Это была такая метель, когда не стало больше ни Петербурга, ни России, ни неба, ни земли. Ничего не стало на свете, только гудящие, огромные, движущеся со всех сторон, падающие, сероватые стены вьюги.

Снег слепил глаза, Мусоргский шел чутьем, как и другие прохожие, точно грузные привидения в тряске метели.

Он любил петербургские непогоды, когда был отделен летящим снегом от всего на свете.

Жизнь, впрочем, где-то кишела, прорывалась мутными, проносящимися огнями, сиплым дыханием извозчичьих лошадей, испугом натолкнувшегося прохожего. В шуме снега он думал, что жизнь, настоящее бытие, не слова, не речи и выдумки, а вот это кишение, бессловесное и бессмысленное, слепая возня вьюги.

Мусоргский любил такие мысли, они казались ему умными, верными. Потом, тяжелый и высокий гул вьюги стал оглушать его.

Внизу, от быстрого шелеста снега, слышалось суровое шипенье, но на верху, во тьме, гул был строен. Могучий, дальний звук повторялся с неумолимостью, неумолкая, высоко во тьме.

Мусоргский подумал, что там впотьмах студеного неба, может быть, сотни верст с яростью мчатся вниз белые полчища, чтобы бить и крутить его здесь на земле. И обычная февральская метель показалась ему страшной, грозной, как библейское пророчество.

Он шел, вслушиваясь в темный гул и, в свисте падающего снега, в тысяче приглушенных звуков, стал слышать одну сильную мелодию, проносящуюся в мелькающей смуте.

Песня была так необыкновенна, прекрасна, грозна, что дрожь восторга проняла Мусоргского. Заваленный снегом, он шел, как слепец или пьяный, с закрытыми глазами и его руки, с подкорченными пальцами были выставлены вперед. Он шел, как слепой пророк, услышавший Божье откровение.

Песня, проносившаяся во тьме, потрясшая его, вдруг стала близкой, как будто потеплела.

Он понял, что песню то относит вьюга, то она находит снова, и это поет грудной, горячий женский голос, он точно обнял его, приник теплотой, удивительной прелестью, и он услышал звон арфы.

Пение и арфа были до того нечаянны, что Мусоргский снял фуражку, перекрестился.

Снег мгновенно покрыл волосы белой, рыхлой шапкой. Он пошел наискось в сугробы, на мутный, как бы несущийся с метелью, огонь.

Это был залепленный снегом фонарь на чугунной лапе, над железными перилами лестницы.

Фонарь освещал кусок стеклянной двери, занесенной снегом, и кусок вывески. В мчащемся мелькании Мусоргский разобрал на вывеске длинные дрожащие буквы «Неаполь». Стеклянная дверь задребезжала, затолкалась вбок, с паром, помутившим фонарь, вырвался трактирный гул, и на площадке лестницы показалось необыкновенное существо, как бы слегка горбатое, крутой тенью подымалось за ним сквозное крыло.

Крылатое существо, тихо звеня, стало сходить в глубокий снег по ступенькам.

На мгновение все показалось сном: арфа, метель, тьма, ресторация «Неаполь», и он без фуражки, у железных перил.

Перед ним стояла молодая женщина или девушка, худенькая, в короткой шубке и в платке, повязанном поверх шляпки. Он увидел сквозь косое мелькание ее тонкое остроносое лицо, с темными близко поставленными глазами, ее оренбургский платок, завязанный на груди крест-накрест, узлом, и, на маленькой руке, нитяную перчатку, с порванными пальцами.

Она стянула с плеча широкий ремень, поставила арфу с нестройным, печальным звоном в снег, выпрямилась.

— Это вы пели здесь? — резко окликнул Мусоргский, надевая фуражку.

Девушка посмотрела сумрачно.

— А то кто, само собой я, — сказала она грудным голосом.

— Что вы пели, ради Бога?

— Да чего вы, господин военный . . . Разное пела . . . Было бы зайти в трактир да послушать.

На ее усталом лице, едва дрогнула та манящая, заискивающая и равнодушная улыбка, с какой уличные женщины говорят с прохожими. Тревожная и сладостная жалость к девушке тронула Мусоргского.

Арфянка сквозь снег пригляделась к нему, оправила на груди платок:

— В такой непогоде извозчика не сыщешь, все по трахтирам сидят. А мне надо музыку мою волочить.

— Позвольте вам помочь, — с порывом сказал Мусоргский.

— Зачем, не надо.

Но он уже потянул к себе холодный ремень арфы, закинув ее за плечо. Позвенели струны.

— Пойдемте, — сказал он, — где-нибудь должны быть извозчики.

— Благодарим вас. Тут есть за углом ихняя стоянка.

Это было странное шествие, офицер, слегка согнувшийся под горбатой арфой, рядом с ним худенькая девушка, в шляпке с искусственным цветком, торчашим из-под платка.

Она шагала неловко, широко, стараясь попадать в ногу. Арфа была легче, чем думал Мусоргский. Он почти не чувствовал ее за спиной. Он слышал шелест снега по струнам, точно выросло за ним звенящее крыло.

Девушка молчала. В мелькании снега тонкое лицо, потуманенное паром, казалось Мусоргскому ликом темноглазого видения.

Его тронуло, как попутчица, идя с ним в ногу, по детски размахивает рукой в нитяной перчатке.

За углом, согнувшись в три погибели к хвосту побелевшей лошади, дремал привыкший ко всем непого-

дам Ванька. Он полупроснулся, когда его позвал седок и откинул медвежью полость, сваливши с нее снег.

От вьюги Мусоргский и девушка пригибались за тощую спину извозчика. Арфу они поставили в сани перед собой.

— Вам куда? — спросил Мусоргский спутницу.

— Да пусть на Подъяческой на углу остановится.

Она смотрела перед собой, думая о чем-то, и тонконосое лицо, очерченное беловатым, косо бегущим снегом, было замкнутым, суровым. Обе руки она сунула, согревая, на грудь шубки, под узел платка.

— Вы, стало быть, арфянка, певица?

Девушка молча кивнула головой. Он знал, что по питерским трактирам, ресторациям второго разряда ходят уличные певицы с арфами. В остроносой девушке, обмотанной платком, в ее шляпке с поникшим тряпичным цветком, было что-то трогательное и смешное. Мусоргский с улыбкой сказал:

— Вы, может быть, вспомните все же, что пели в «Неаполе» перед тем, как выйти на улицу...

— Как выдти на улицу, — повторила она. — Не помню. Всякое пела. Романцы разные, как полагается.

— А вот это не помните?

Он стал глухо напевать, но получилось что-то фальшивое, мертвое.

— Нет, не то... Ну, а какие романсы вы пели?

Девушка удивленно покосилась на него:

— Не помню. «Ах, обойми меня» или «Поцелуй горячей».

— Но это же вздор, вы не то пели...

— Почему вздор, чего пристали? Что полагается, то и пела. Не помню.

Она обиделась. Он понял, что ничего не узнает:

— Извините меня.

Арфа, залепленная снегом, качалась перед ними с дребезжанием.

— А как же так, вы, певица, а вашей арфы не бережете?

— Чего?

— Арфа, говорю, мокнет, хотя бы чехол.

— А эта, — и злобно усмехнулась. — Чего ей делается, железной . . . Пускай мокнет.

Она вдруг высвободила из-под платка руку, быстро стянула зубами перчатку, и ударила с силой по струнам:

— У-у, шкелет, — сказала с ненавистью девушка.

Арфа зазвенела так гулко, что возница обернулся, с шапки посыпало снег.

Мусоргский молча подал девушке упавшую перчатку. В перчатке еще не остыла теплота ее руки.

Она молчала всю дорогу. Наконец, девушка, вглядываясь в несущийся снег, сказала:

— Тут остановите, теперь я сама дойду . . .

Она вышла из саней, отряхнула с шубки снег, и потянула к себе арфу:

— Благодарим вас, господин военный.

— Нет, ради Бога, — забеспокоился Мусоргский, — позвольте, я донесу арфу.

— Не надо, говорю, сама дойду.

Но он уже перекинул ремень арфы за плечо:

— Пойдемте, куда вам надо?

— Как хотите, — сумрачно согласилась она. — Несите, когда хотите, нумер шестнадцать.

Улица была темной от падающего снега и от того, что метель погасила редкие фонари. Мусоргский слышал быстрое дыхание спутницы.

— А вы, поди, в полиции служите, — насмешливо и дерзко сказала она вдруг.

Мусоргский удивился:

— Почему в полиции? Нет, я офицер.

— Офицер, — недоверчиво повторила она. — Сразу видать, из полиции.

— Но откуда вы знаете полицейских?

Девушка только усмехнулась презрительно.

Из подворотни вышел человек в хорошей шубе и лисьей шапке:

— Аннушке-сударушке наше почтение с кисточкой, заждались, аж санки снегом занесло, сказывали будете в шесть . . .

Арфянка оживилась, заговорила крикливо:

— Да я с хозяином в «Неаполе» разбранилась, вот и опоздала . . . Ей Богу, перейду петь в трактир на Мещанскую.

— А как же со мной в «Самарканд»? Обещались.

Арфянка рассмеялась:

— Я обещания держу, не то, что вы-с . . .

С долговязым в лисьей шубе она говорила весело, как со своим:

Долговязый, по виду гостинодворский приказчик или купец, с удивлением посмотрел на офицера, стоявшего с арфой, начал снимать шапку.

— Это так, ничего, — с холодным равнодушием сказала арфянка. — Господин военный пособил мне музыку довезти . . . Покорно благодарим.

Когда сани отъехали, Мусоргский послушал озябший и неприятный смех арфянки в метели. Он остался у ворот один. Снег шумел.

Мусоргскому было немного обидно на странное, жалкое существо из другого мира, на эту уличную девушку.

Он еще постоял у ворот, потом пошел.

На неизвестной улице с погасшими фонарями, он снова услышал высокий гул вьюги и ему вспомнилась грозная песня. Только теперь пела она невнятно и глубоко, в нем самом.

ПЕСНЯ

Крошечная прихожая, дверь из которой открыта в обе комнаты, показалась сегодня Мусоргскому особенно уютной.

Денщик перед уходом хорошо вытопил печь, всюду стояло ровное, приятное тепло.

В кабинете он зажег лампу под синим колпаком, подвинул газеты на рабочем столе, раскрыл книгу, нотные тетради.

Часы из приданого матери, французского ветхого ампира, с колонками красного дерева и потемневшим бронзовым амуром со свирелью, стучали кротко, как прелестная старушка, с палочкой вышедшая на прогулку.

Он надел мягкие сапожки истертой зеленой кожи, накинул поверх сатиновой вишневой рубахи светлую шинель легкого сукна с красными погончиками, еще школы гвардейских прапорщиков, — шинель служила теперь халатом, — и лег на кожаный диван, у печки. Уголья тлели, в тихом шевелении огня был кроткий домашний мир.

Ему стало так хорошо и спокойно, потому что он, наконец, откроется Лизе, напишет ей все. Но ни вставать, ни писать не хотелось. Что-то иное утешало его. Он вспомнил арфянку, полудевочку с худыми плеча-

ми, в мещанской шубке, ее смешную шляпку под снегом, с какой угрюмой злобой дернула она струны арфы, как с них посыпался снег.

— И, правда, железный скелет, — сказал он вслух, садясь на диван.

Темноглазое тонкое лицо уличной девушки снова напомнило кого-то. Это от ее песни так хорошо. Ее голос пел в метели, и арфа звенела, как арфа небесная.

Он стал ходить по кабинету совершенно бесшумный в татарских сапожках. Какая удивительная песня. Ее гармонический ход, звучащий смысл, он слышал и теперь, мелодия, оказывается, все время поет в нем. Потому-то так необыкновенно хороша сегодня его комната, где столько исхожено, столько передумано.

В углу старое пианино, на нем груды потрепанных нот, партитур, старая круглая миниатюра матери, а над пианино большой образ, древнего письма, почерневший, с едва заметным каленым ликом архангела или серафима, кому он иногда молился.

Молиться он стыдился, но по детской привычке, неожиданно для себя, с всклокоченной головой, в той же летней шинели, бормотал ночью, после работы, перед черной иконой «Царю Небесный Утешителю». Молитва была лучшее, чему научила его мать.

А за пианино громоздилось нечто вроде кладовой. Там были навалены, как у старьевщика, газеты, книги, пыльные офицерские сапоги, палаш времен Екатерины, понравившийся на толкучке, промятый кивер двенадцатого года, трубка с чубуком, какую он пробовал курить, пыльная гитара.

Он все ходил по кабинету, точно опасаясь подойти к столу. Он хотел записать мелодию, услышанную в метели, но знал, что будет трудно.

Над столом он начал перелистывать рукописи. Ему всегда неловко было просматривать их. Все куда беднее, грубее, что слышалось ему, что он желал записать.

Его записи были как морские звезды, выброшенные на песок, погасшие серо, мертво. Вот его скерцо B-dur. Когда-то он был уверен, что этот ничтожный пустяк совершенство. А его Si-moll давно следовало разорвать: какая бедность, какая тоска. Ничего не удается ему. Если бы он мог записать, заставить жить и звучать то, что слышал сегодня, во вьюге, вот это могло бы быть первым настоящим, что Бог дал услышать ему.

— Господи, помоги мне! — он внезапно перекрестился на черный образ, сел к столу.

Мусоргский стал писать.

Нотные закорючки, кружки, как тоненькие человечки, устремленные вперед, волнистые линии, мчались из-под его руки по нотной тетради, точно летела над ней, подскакивая, легкая птица.

Он скомкал исписанный листок, бросил под стол, снова начал ходить. В сумраке светились его глаза. Он мучительно и невнятно мычал, с крепко зажатым ртом. Мелодия не давалась.

Потом он накрылся пледом с головой, лег, отвернувшись к спинке дивана. Могло казаться, что на диване лежит отчаявшийся человек, а пальцы все отстукивали такт.

В самую глубокую ночь, когда во всем доме настала тишина, Мусоргский, волоча за собой дырявый шотландский плед, сел к пианино. Он начал играть торжественный напев, что-то похожее на церковную панихиду, тут же со злобой захлопнул крышку.

Он опять ходил, невнятно мыча, точно глухонемой, который хочет заговорить. Потом, кутаясь в плед, он

сидел, всклокоченный и суровый, с осунувшимся лицом.

Над ним в звучной тишине, часы у верхнего жильца предостерегающе пробили пять. Амур со свирелью тоже прозвенел тоненько, как всегда с опозданием.

Над головой слышались ровные, неторопливые шаги. Верхний жилец не спал. Сколько раз было так, что Мусоргский будил верхнего жильца внезапной ночной музыкой, пением, глухой возней работы, но неизвестный человек никогда не постучал ему сверху, никогда не пожаловался. Или там живет глухонемой?

Мусоргский нагнулся, поднял из-под стола скомканные листки. Все было совершенно не то, что он слышал и желал записать. Лампа уже мигала. Он задул ее. В окне серел зимний рассвет.

Ему и не надо было возиться ночь. Он сыщет завтра эту арфянку и она споет ему.

Так, в кресле, Мусоргский и заснул.

За полдень его разбудил вежливым покашливанием денщик Анисим.

Все было убрано, комнаты выметены и в печке светло шумел огонь. Денщик заботливо накрыл его одеялом, подложил под голову подушку и Мусоргский, пригревшись, не хотел теперь шевельнуться.

Он следил за денщиком, осторожно бродившим по комнатам. Когда Анисим работал, он снимал солдатский мундир и оставался в ситцевой рубахе с крапинками, подпоясанной ремешком.

Мусоргский всегда любовался его чистотой, мягкой осторожностью и опрятностью. На военной службе Анисим стал глохнуть. Как все глухие, он был удивительно легок в движениях, кроток и молчалив.

Мусоргский жалел своего денщика и обычно отпускал его в полк на весь день, после утренней уборки, и

еще давал мелочь на табак. Что-то милое, теплое и чистое было даже в запахе деревенской рубахи Анисима.

Денщик принес на подносе намытый до блеска кофейник и чашку.

— Извольте откушать, ваше благородие, — сказал он тихо. — С самого огня. Как почивали?

— Спасибо, хорошо, — нарочно громче ответил Мусоргский. — Который час?

Труднее всего было с Анисимом повышать голос, это утомляло и стесняло.

— Да час уже третий, — солдат тихо улыбнулся. — Скоро сызнова темнеть будет.

Мусоргский хорошо знал об Анисиме, что он вологодский, что у них в деревне все такие рослые, и берут в гвардию, что у его отца богато пашенья, коней, пчел, и пятеро сынов, он, Анисим, пятый, а пошел в рекруты по охоте, за старшого, женатого.

Особое товарищество, простое и заботливое, сложилось между молодым офицером и его вестовым.

— Надо бы вставать, ваше благородие, — повторил Анисим.

— Да, сейчас.

Но ни двигаться, ни откидывать одеяла не хотелось. Он только потянулся сладко, всем телом, так что косточки похрустели. Анисим отлично сварил кофе, как хорошо, сизовато, дымится чашка, как хорошо лег у окна багряный квадрат морозного солнца. Как хорошо все, и еще вся жизнь перед ним, такая же теплая, сладостная, бесконечная.

Приглатывая горячий кофе, Мусоргский стал обдумывать, как найти вчерашнюю певицу.

Историю с мелодией надо довести до конца. Конечно, это вздор, будто ему послышалась в метели небесная мелодия. Так вот для него, эдакого милостивого го-

сударя, в подбитой ветром шинельке и побеспокоятся там, наверху, в потемках, с небесными арфами. Но пела арфянка, правда, что-то любопытное, неслышанное никогда, и напев должно записать непременно. «Нумер шестнадцать» он вспомнил, как она назвала номер дома на Подъяческой, а своему долговязому ухажеру сказала, что будет петь в трактире на Мещанской. Мусоргский решил пойти на Мещанскую.

Перед зеркалом он заметил, что все же довольно ладный, и золотые эполеты к лицу, особливо, когда натерты до блеска мелом.

— Анисим, ты свободен, голубчик, спасибо, — весело и громко сказал он вестовому, подавшему в прихожей шинель.

— Рад стараться, ваше благородие. Я туто еще приберу в столовой и уйду.

Столовой звалась у Мусоргского комната перед кабинетом, потому, вероятно, что там стоял у окна некрашеный стол и три венских стула, больше ничего, а кухня была в самой прихожей, в виде плиты, на которой красовался самовар, медный, помятый, купленный где-то для барина Анисимом.

Зимний вечер, после метели, выдался в Петербурге светлым и мягким.

Багряное солнце точно не хотело уходить и, в столбах морозного дыма, верхние окна на Невском проспекте были полны холодного красного огня, а внизу, где снег уже синел, сновали прохожие, мчались туда и сюда охваченные паром экипажи.

Зажигались фонари, и в этом сочетании неуходящего солнца, синеватого снега и первых огней, было и бодрое оживление и какое-то нежное ожидание.

Все сильно дышало, спешило, сновало у освещенных окон магазинов, точно не желая расставаться со

светлым зимним вечером: никогда не уйдет вечер, не будет больше двигаться время.

В переулке у Публичной Библиотеки, Мусоргский забежал в пирожную. У сонного пирожника, в его чулане, отменны были пирожки с мясом и грибами, мгновенно промасливавшие бумагу.

Мусоргский был уверен, что найдет певицу и ему была приятна и немного смешна встреча. Он весело, как победитель, шагал в толпе. На белокурого офицера заглядывали модистки, перчаточницы, уже вышедшие из задних душных чуланов, за магазинами. На Невском верхние окна потемнели, погасло за Адмиралтейством холодное лиловое облако. Заметно похолодело. Нет, время двигалось.

На Мещанскую Мусоргский пришел пешком. Вечерний морозец ободрил его, всю дорогу он что-то напевал и насвистывал.

Валил пар из окон прачешной на Мещанской, из подворотни извозчичьего двора, из дребезжащих стеклянных дверей трактира, откуда как раз выходило двое пьяных, вежливо поддерживая друг друга.

Теплый пар валил из портерной, вместе с запахом жареной рыбы и пива, дымился паром другой трактир, напротив, с запотевшими окнами, и вывеской «питейное заведение, распивочно и на вынос», а в конце улицы, с ее нетрезвой суетой, шумом, криками извозчиков, с разъезженным, почерневшим снегом, — как бы заканчивая эту убогую Содом и Гоммору, похожую чем-то на китайский грязный квартал, — виднелись, прорезанные в жести, красно освещенные фонарем изнутри буквы «Торговые Бани».

От бань на всю улицу шел теплый пар, был тут дрязг у трактирных дверей, пьяные потаскухи, разо-

гретые вином и банным пеклом люди, с дымящимися мокрыми вениками под мышками.

— А ну, малец, — остановил Мусоргский мальчишку-сапожника, в обрывке зеленого фартука, в опорках, измазанного не то дратвой, не то ваксой, перебегавшего с огромным медным чайником улицу в трактир, взять на две копейки кипятку для хозяина.

— Ты мне толком скажи, в каком тут трактире поет нынче арфянка?

Мусоргский был уверен, что малец знает. Так и случилось. Парнишка сморгнул черным носом и показал пальцем через улицу.

— В Московском арфянка поет.

И не успел Мусоргский дать ему на гостинцы, как сапожный мастер без малого десяти лет уже бесстрашно занырял в тумане, среди извозчичьих лошадей, матерно отругиваясь на ходу.

У ступенек трактира, сквозь дребезжание, Мусоргский услышал на мгновение звон арфы и женский голос, поющий ту песню, какую он слышал в метели.

Это было так внезапно, так страшно, что Мусоргский содрогнулся и несчастная Мещанская улица с ее пьяным шумом ухнула куда-то. Настала грозная тишина.

Но через минуту уличное кишение, с его банным паром, влилось в Мусоргского снова.

НОЧЬ

В протабаченной зале трактира, куда вошел Мусоргский, горели под сводами лампы. Они слегка покачивались.

Из-за столов, заставленных пивными бутылками, на офицера посмотрели удивленно и подозрительно.

Человек, ошалевший от водки, с лысеющей курчавой головой, на выкате мутные глаза, блестят слюнявые губы, вдруг поднялся и пошел навстречу Мусоргскому.

— Во, их благородие пожаловали . . .

Человека за полы пальтишка оттащили на венский стул, назад, он ничуть не обиделся.

Арфянка пела в кабацкой мгле, в жадном и влажном гуле нетрезвых голосов.

Еще с порога он узнал ее. И она узнала его, слегка сверкнул ее глаз. Она запела старательнее, она явно позировала для него. Ее арфа и шарманочный немецкий романс звучали грубо и скучно.

Он сел за стол у самых дверей, все было липкое, отвратительное, нечистое, на столе неубранные осколки бутылочного стекла, по ногам сильно дуло. Лампа под широким папочным колпаком качалась над ним, от колпака ходил по потолку круг тени.

Трактирный половой, угрюмый человек, с темным лицом и впалой грудью, исхудавший, чахоточный, с тяжелыми, как оглобли, руками в сухожилиях, подошел, вытер мокрой тряпкой стол, и сказал с презрительной грубостью:

— Сюды благородные не ходят.

Мусоргский усмехнулся.

— Ничего, братец, не гони. Мне только два слова арфянке сказать.

— Арфянке?

Половой осклабился с угрюмым бесстыдством, показал лошадиные зубы:

— Понимаем.

И отошел в трактирный теплый туман.

Его вчерашняя спутница была сегодня в вязаной кофточке. Теперь он хорошо увидел, какая она длинноногая. Ее волосы раза два высверкнули под лампой, как красная медь.

Она стояла с арфой у стойки. Над стойкой висела клетка с птицей. Мусоргский видел как птица бьется, кидается в клетке, вероятно уставшая смертельно от звона, пения, смуты.

Трактирная певица, наконец, допела романс и подошла к его столу, оправляя кофточку, очень узкую, с мелкими стеклянными пуговицами от шеи до живота. Рукава кофточки были ей коротки и руки торчали оттуда, как у девочки, переросшей прошлогоднее платье.

— Здравствуйте, капитан! — смело сказала она.

Ее близко поставленные глаза странно блистали. Садясь, она обдала его теплым запахом вина и, показалось, мяты. Кажется, она была не совсем трезва.

— Здравствуйте, мадемуазель! — сказал он с неожиданной для себя развязностью.

— Мамзель, — повторила арфянка, легонько сфыркнула.

Худыми, полудетскими руками она стала оправлять волосы, высоко поднимая к затылку обе руки.

Волосы были прекрасные, пышные, темнорыжие, в отблесках, высоко зачесаны над ушами назад, точно их отдувал невидимый ветер. И это напомнило ему снова кого-то.

От того, что она подняла руки, под тесной кофточкой выкатилась чашами маленькая грудь и во рту у Мусоргского стало сухо, что-то сладкое и беспощадное вдруг глубоко пошевелилось в нем. Он сказал развязно, чувствуя в звуке голоса, внезапно приглохшего, сухой, сладко-тягучий звук:

— Сегодня я у вас капитан, а вчера так вы меня, кажется, за околоточного надзирателя приняли.

Арфянка весело закивала головой:

— Верно, верно, приняла. Такая дура. Спасибо Василь Васильевич растолковал. Вы из самой гвардеи Преображенской, настоящий офицер.

— Это вам Василь Васильевич, где же, в «Самарканде», разъяснял?

Она рассмеялась, тронула его руку.

— Какой любопытный. Может и в «Самарканде».

То же сладостное, беспощадное, точно отняло ему на мгновение дыхание.

Мусоргский провел рукой по лбу. Лоб был горяч и влажен. С брезгливым страхом он понял, что в развязной болтовне с арфянкой, он подражал тому самому залихватскому долговязому приказчику, какой увез ее в «Самарканд».

— Я, собственно, к вам по делу, — сказал он смущенно и строго.

— Ну, конечно, по делу, — повторила она со смешком и положила на стол обе руки, очень белые и слабые, какие бывают у рыжих. Красивы были ногти, продолговатые миндали. Она тронула рукав его шинели:

— Угостили бы сначала сладеньким.

— Сладеньким?

— Херецом. Здесь херец есть.

— Херец, — повторила она, придавая какой-то особый смысл этому слову, рассмеялась, блистая глазами.

— Как вас зовут? — сказал он, смущаясь.

— Меня? Аничкой.

Мрачный, как чума, половой, поставил на стол с угрюмой дерзостью бутылку.

— Два рубли.

Мусоргский заплатил. Он никогда не пил вина, брезговал пьяными и с отвращением отпил глоток густой тошноватой жидкости, ожегшей рот.

Арфянка выпила стакан быстро, откинувши голову. Ее белая шея, очень нежная, изящная, была повязана черной бархатной ленточкой, на ленточке помятое сердечко из дутого серебра, жалкое и трогательное. От крепкого вина выступили на ее глазах слезы. Она улыбнулась.

— Я правда к вам по делу, — повторил он строго, следя с удивлением, как она пьет. — Я хочу вас просить напеть мне вашу песню. Если напоете, я могу ее записать, вы понимаете, я могу записать ноты.

— Понимаем. Ноты.

— Вы могли бы поехать ко мне, взять арфу . . .

— Зачем же-с арфу?

Она усмехнулась со вчерашней холодной неприязнью:

— Пущай уж здесь остается арфа, чего таскать.

— Так вы согласны проехать ко мне?

Девушка, поднявши руки, поправила на затылке узел рыжих волос. От вина ее лицо стало бледнее, а рот увлажнился ярко. Она перегнулась через стол, обдала теплым дыханием. Теперь он видел, что у нее зеленоватые, глубокие глаза. Она улыбнулась ему нетрезво, отчего с каким-то презрительным бесстыдством раздвинулись яркие губы:

— Дашь пять целковых, поеду, — внезапно, грубо, сказала она шепотом.

От ее слов и особенно от того, как раздвинулся ее рот бесстыдной улыбкой, в нем замерло все сладко, страшно, и он, с пересохшим ртом, ответил тоже шепотом.

— Конечно, дам, пожалуйста.

Когда они выходили из трактира, тот курчавый, ошалевший от водки, с выкаченными глазами, рассмеялся. Показалось молодому офицеру, что мутный гул трактира, вся Мещанская улица, криво прыгающая, чавкающая в тумане, потешаются над ним.

Они сели на извозчика. Арфянка озябла. Вскоре вино улетучилось, она заметно дрожала. Сегодня она была без оренбургского платка, но он узнал ее короткую шубку и нитяные перчатки с прорванными пальцами. А шляпка красовалась на ней, маленькая, не по зиме, соломенная шляпка, с загнутым краем и тряпичным трясущимся цветком.

— Послушайте меня, прошу вас, — сказал он тихо, чувствуя к ней сладостную жалость. — Право, я хочу только, чтобы вы спели мне все, что вы поете . . .

Он тоже дрожал, не только от холода, а от нестерпимой внутренней дрожи.

— Холодно как, — она вдруг прижалась щекой к его плечу, у рукава шинели, он невольно обнял ее за

талию, почувствовал под шубкой ее мягкий бок и выше, над ним, тоненькое ребро.

И не мог удержать дрожи, говорил стуча зубами:

— Правда, холодно как . . .

Сжимая тело, отдающееся его руке, он вдруг подумал, что везет к себе чужое, несчастное уличное существо, чтобы утолить то беспощадное, темное, что сдавило его и уже не отпустит, как смерть, что он везет к себе эту рыжеволосую озябшую девушку, точно жертву.

С усилием он отнял отяжелевшую руку, отодвинулся.

— Вы чего? — равнодушно спросила арфянка. Она, кажется, задремала на его плече.

Под огромными воротами дома на Обводном, когда они выбрались из саней, Мусоргский заторопился.

Это был большой доходный дом с проходным двором, населенный беднотой, под воротами и на дворе встречалось не мало жильцов. Мусоргский торопился от нестерпимого стыда. Он был уверен, что все смотрят на уличную девушку и все понимают, для чего он ведет ее к себе.

— У-у как тепло, — сказала арфянка в его прихожей.

Мусоргский торопливо зажег лампу.

— И как чисто, — огляделась она, стягивая с руки, по детски, зубами, сначала одну, потом другую перчатку.

— Пройдите туда, в самый конец, — глухо сказал Мусоргский, чувствуя снова горячую сухость во рту. — Я сейчас . . .

Она, как была в шубке и шляпке, пошла в его кабинет.

— Постойте, дайте же вашу шубку.

Он помог ей. На ее белом затылке, с высоко подобранным узелком красноватых волос, была завязана кривым бантиком черная бархатная лента.

— Туда, — показал он ей на вторую комнату.

Ее шубку и шляпку он повесил на вешалку.

Шубка была в инее, холодная, но изодранная и посекшаяся шелковая подкладка еще хранила живое, необыкновенно легкое тепло ее тела. От шубки пахло чистым снегом, но и в нем почудился ему тонкий, женственный запах греха.

Ему показалось, что Анисим натопил сегодня до духоты. Он подумал, что надо бы поставить самовар для арфянки, но не поставил, а нарочно возился в прихожей. Ему было тревожно пойти в последнюю комнату, где за прикрытой дверью ждала она. Она не подавала голоса, молчала, и это было самое страшное.

Лампу он почему-то оставил в первой комнате, на столе, пошел в кабинет без огня. «Крадучись, как убийца», подумал он.

Когда он открыл дверь, арфянка лежала на его кожаном диване у печки. Одна нога, освещенная красновато, была согнута в колене. Арфянка покоилась как «Ночь» Микель Анжело.

Она лениво обернула к нему тонкое, едва светившееся в потемках лицо, позвала равнодушно:

— Что же вы стали, идите . . .

И равнодушным и наивно бесстыдным движением потянула рукой юбку выше колен. Ее глаз перелился в полутьме, чуть кося.

Тьма, громадная, мощная, что-то бессмысленно-сладкое, беспощадное, содрогнулось в нем . . .

Позже, он полусидел у дивана, на полу, прижимаясь щекой к ее коленям, и дышал слышно и часто.

Девически целомудренным движением она оправила юбку и оттолкнула от колен его голову.

— Пустите, — сказала она с равнодушной неприязнью и тут же собрала в рот веером шпильки, стала закручивать над затылком волосы, потряхивая темно-рыжими прядями, как гривой.

Она выпрямилась. Огнем печки осветило ее башмаки.

Только теперь он увидел, какие у нее грубые, разношенные башмаки, с кривыми каблуками, самые дешевые, с ушками, какие носят приютские сироты, тяжелые и недвижные башмаки, точно с ноги мертвеца. Ему нестерпимо стало жаль ее.

— Хоть бы лампу, что ли зажгли, темень какая, — сказала она с досадой.

— Лампа там, рядом.

Голос глухой, вязкий, показался ему чужим, отвратительным. И все, что случилось, что он так сидит на полу, что волосы у него влажные, все было отвратительным нестерпимо.

Брезгливо касаясь своего тела, он застегнул пуговки на вишневой сатиновой косоворотке, с отвращением посмотрел на свои большие руки. Беспощадная сила, тьма, повалила, победила, и вот сбросила на пол его тело, как груду гнусных лохмотьев. Он точно выдохся, точно навсегда стал одной бездыханной, бессмысленной плотью, куском тьмы. «Плоть, плоть», скользило в нем это слово.

В соседней комнате, куда была открыта дверь, арфянка возилась у стола, над лампой.

Он поднялся. Уже в шубке и шляпке, глядя в осколок зеркальца, она поправляла на шее черную бархатку.

— Вы уходите? — с трудом сказал Мусоргский.

Арфянка не обернулась, не ответила.

— Но как же вы уходите, — повторил он растерянно, со стыдом и отвращением к себе, чувствуя нестерпимую вину перед уличной девушкой.

— Давайте пять рублей, — сухо сказала она, протягивая руку.

— Пять рублей? Да, конечно, сейчас ...

Он вынул из кошелька сложенную вчетверо кредитку. Арфянка быстро опустила ее за кофточку, вместе с осколком своего зеркальца.

— Могли бы хоть рубль прибавить, — сказала сумрачно.

Не понимая толком, что она говорит, он смотрел на нее со страхом.

— Но как же так вы уходите? — повторил он.

Она взглянула со злобным презрением, завязывая под полудеским нежным подбородком ленты шляпки:

— А чего мне тут делать? Вот только не знала, что жадина такой. Даром, что офицер, а сквалыга ... Рубля пожалел.

Она ушла, хлопнувши дверью.

Мусоргский из прихожей медленно пошел в комнаты.

Он сел в свое старое кресло и, как бы желая спрятаться от кого-то, завернулся в плед с головой.

Все черно, грязно, отвратительно показалось ему. Лампа коптела. Он ее затушил. Холодные потемки стали еще омерзительнее.

С какого восхищения началось, со слышания небесной мелодии, райских арф, какие, видите ли, ради одного его, милсдаря, гвардейского прапорщика Мусоргского, разыгрались на небесах, в петербургскую метель, а кончилось тем, что он купил за пять целковых уличную потаскушку. Он опаскудил, охулил все. Он оскверн-

нил чистую любовь к Лизе, в самом себе он затоптал что-то, неприкосновенное, затаенное, как дыхание молитвы.

Со всей той проклятой Мещанской улицей, снующей жадно и мерзко, окутанной промозглым паром, с ее ревом и гнусностью, с ее торговыми банями, трактирами, распивочными, номерами, вонючими закоулками, вместе с тем разбитным мерзавцем из Гостиного Двора, и со всеми мерзавцами, кто убивал ее, он, будто бы хороший человек, музыкант, мнящий о божественном гении и небесных арфах, добивал, затаптывал ее, — живую, живую, — в окаянном человеческом точиле.

Наверху пробили часы.

С опозданием, тоненько прозвонил его ветхий амур со свирелью. Да не сон ли это? Вот его исписанные листки на столе. Он пытался записать мелодию и заснул . . .

Мусоргский сбросил плед. Нет, не сон.

Воздух легкий, прохладный, ее неуловимо женственный воздух, почувствовал он и на себе и кругом, в потемках. Она была здесь.

ПЛЕН

Утром денщик принес из полка записку: адъютант требовал Мусоргского в батальон, на Кирочную.

Мусоргский бледный, подавленный, спозаранок одевшийся с особой тщательностью, ходил по кабинету.

— Я не пойду в батальон, — обиженно, с раздражесием, сказал он, прочтя записку. Анисим не дослышал, улыбнулся.

— Не пойду в батальон, — резко повторил Мусоргский.

Он решил сказаться больным и тут же написал в полк.

В прихожей Анисим заложил конверт за обшлаг серой шинели, стал надевать бескозырку, потом повернулся и, с бескозыркой на локте, ступил к барину.

— Так что, разрешите доложить, ваше благородие, мне вчерась бумага от дохторей дадена.

Мусоргский, занятый своими мыслями, рассеянно взглянул на казенную серую бумагу, какую подал солдат. Анисима по болезни уха, назначили на испытание в госпиталь.

— Ну, что же, брат, ложись, — равнодушно сказал Мусоргский.

Денщик с его глухотой показались ему такими пустяками перед тем, что случилось с ним, что только и занимало его.

— Ложись, говорю, в госпиталь, — повторил он громче. — Желаю тебе поправиться.

— Так точно, ваше благородие, покорно благодарим.

Лицо солдата тронулось кроткой улыбкой:

— Дозвольте попрощаться, ваше благородие. Много благодарны, что меня берегли, не обидели.

— Ну, что ты Анисим, какие пустяки.

Ему стало немного жалко, что тихий, с глушиной, солдат уходит от него.

— До свидания, голубчик, я тебя обязательно навещу в госпитале.

Он пожал крупную, плоскую руку солдата, от неожиданности не ответившего на рукопожатие. У Анисима вдруг задергался ус, он наклонился и поцеловал Мусоргского в плечо, около эполета.

— Полно, полно, Анисим, — с чувством вины перед ним заторопился Мусоргский.

Солдат сунул бумагу за обшлаг и по фронтовому повернулся.

Мусоргский вспомнил, что Анисиму надо дать денег. В кошельке на месяц оставалось сорок рублей с мелочью. Стыдясь, он стал засовывать в руку солдата десятирублевую асигнацию:

— Вот, возьми, пригодится, ступай...

Он остался один, стал ходить по кабинету, рука под петлицей мундира, на груди, по наполеоновски. Он вернулся к своим мыслям. Ему хотелось каяться, просить прощения перед арфянкой, и он никогда не признался бы себе, что такое раскаяние было приятно, тешило его. Он никак не признался бы, что любовался своим покаянием.

С тонкой и приятной грустью он думал, что надо изменить жизнь, чтобы не было больше таких, как эта певица, и как люди могут жить, воспитывать будто бы честных сыновей и дочерей, ходить в церковь, молиться, верить в Бога, когда все совершенно равнодушно допускают и делают такое зло.

Он думал об этом книжными умными словами, вроде «общественное неустройство» или «социальная несправедливость», и к умным словам у него примешивалось чувство скрытого любования собой, своим пониманием, честным благородством, в чем он тоже никак не сознался бы. А когда он вспоминал худенькую, темноглазую, рыжеволосую девушку, какая была здесь ночью, и особенно ее прохладный воздух, его трогала такая сладостная жалость к ней, что хотелось с наслаждением потянуться всем телом.

Но в приятном раскаянии, так занимавшем его с самого утра, вдруг кричало что-то нестройно, мучительно, будто чужой засел в нем и грубо вопил сквозь расслабленные, покаянные чувства: «врешь, подлец, осквернитель, все врешь» . . .

Это мешало, озлобляло. Раздраженный, он вышел на улицу.

По небу, тусклому от холода, легла наискось узкая синяя туча. Снег скрипел. Он думал упрямо, что сегодня же сыщет злосчастную арфянку, извинится или вообще как-то загладит перед нею вину, хотя все это глупо, ненужно, и никакой его вины нет. «Ничего особенного я не сделал, — думал Мусоргский в злобном споре с тем, чужим, кто мгновениями раздирал его. — Все так делают, она уже забыла обо мне, а я-то разыгрываю античную трагедию. Но если так надо, пожалуйста, я извинюсь и вообще». Но что «вообще», он не знал.

В трактир на Мещанскую он пришел еще засветло.

Там было пусто. Только спал, положивши локти на стол, человек в потертом пальтишке, седой, залохмаченный, по виду опустившийся актер. Пол был полит из чайника кривыми дорожками, вензелями воды, и посыпан опилками. У полуоткрытого окна светился кусок вечернего солнца. Мусоргский всегда любил закат, и на вечерней заре ему показалось даже привлекательной эта пустая трактирная зала, с копотью на сводах.

Самое привлекательное было в том, что над стойкой в клетке птица заливалась трелями. «Кажется иволга или чиж», подумал он.

Трактирщик, маленький человек, заплывший жиром, с лысой, как сальный шар, головою, похожий на тихого китайца и на скопца, опухший, вероятно, от водянки, с желтыми, пухленькими, как у барыньки, ручками, осведомился с равнодушной скукой:

— Вам арфянка, полагаю, нужна-с?

— Да, я думал застать ее здесь . . .

— Никак не застанете. Опасаюсь, что запила-с.

— Как запила?

— Да так. С нею случается. Известно, гулящая. Как ее вчерась увез один, так и не было.

— Это в лисьей шапке, долговязый? — с неожиданной быстротой спросил Мусоргский.

— Зачем в лисьей. Никакой лисьей шапки нет-с. А один из бюро похоронных процессий. Проще сказать, гробовщик. Загуляла.

Трактирщик осклабился, показавши серые зубы, бледные десны.

Мусоргскому стало отвратительно и страшно. Трактирщик, вежливо постукивая пухлой ручкой по стойке, ожидал, когда офицер уйдет, хотя ему было все равно, уйдет он или нет. Трактирщика уже ничто не

удивляло, ничто не трогало, он никогда не повышал голоса, никогда не плакал, только по привычке вздыхал и крестился перед иконами, — он всеми днями, ночами прислушивался, как у него что-то ноет в животе, точно выедает, копается. Трактирщика ела язва, рак.

За стойкой была приоткрыта оклеенная обоями дверка в задний чулан, где жил трактирщик. Там, у окна, в углу, румяно светились от зари иконы, одна над другой, точно золотой иконостас. «И такая гадина еще может молиться», с чувством своего превосходства, чистоты, невиновности перед всем миром, подумал Мусоргский.

— Ну, что же, я пойду, — процедил он сквозь зубы.

— Как вам угодно-с. Раньше чем к ночи ее нечего и ждать, ежели будет. Ужо я ей вычту, гулящей, благо струмент ейный тут оставлен.

— Арфа?

— Как-с? Именно, арфа-с. У таких мы завсегда залог забираем.

Трактирщик приоткрыл дверку и Мусоргский увидел в чулане арфу. Струны были проскважены красноватым солнцем, арфа казалась высокой, легкой волной света. Позолота на горбатой дуге кое-где была осыпана. Арфа показалась ему на мгновение сквозным крылом, и это было так хорошо, что сжалось сердце. Но осыпавшаяся позолота напомнила ему почему-то о загулявшем гробовщике. Он кивнул трактирщику и пошел к дверям. Чиж заливался вечерним щебетом.

На улице он почувствовал печальную пустоту. Собственно, ему некуда и незачем идти, и он не знает куда себя девать. Он решил побродить по Невскому, посмотреть газеты в кондитерской или зайти в биллиардную, чтобы протащить время, остановившееся внезапно.

Люди, дома, лица прохожих, все казалось тошным, как желтый, заплывший салом, трактирщик. Весь мир вдруг опротивел ему. Может быть, к тому военному лекарю пройти, спрятаться от пустоты к Мечтателю. Только не к Лизе.

Он зашел в кофейню на Михайловской, почитать от нечего делать газеты.

В кофейне было тепло и накурено. Низкие волокна табачного дыма под розовым рожком напомнили гостиную Орфанти. Он почувствовал перед Лизой острый и горький стыд.

Газеты показались скучными, слепыми, как будто читанными. То же, что вчера, неделю, год назад: Англия, нам пишут из Парижа, Берлин, убийство с целью грабежа на Малой Колтовской.

Он вспомнил, как Бородин, шумановский Мечтатель, говорил ночью в солдатском госпитале о музыке, и что-то об апостоле Павле. В музыке и во всем, что есть в мире, звучит одна неразрешимая вечная тема: столкновение света и тьмы, зла и добра, сплетение, смешение их. Вечная победа света и есть музыка. У апостола Павла где-то в послании сказано: есть Чаша Бесовская и Чаша Господня. Так музыка есть вечно льющаяся Чаша Господня.

Но почему-то все это почудилось Мусоргскому одними словами, пустотой слепых газет, несущейся тенью почудились ему их горячие рассуждения, замыслы, вся его жизнь, и все, что он думал о Лизе, — а вот единственно настоящее, внезапное, та худенькая, рыжеволосая арфянка, в стоптанных башмаках, и удивительнее она всего, и лучше, и чудеснее, а он не знает, кто она — Чаша Бесовская или Чаша Господня.

«Не знаю, не знаю, и все равно, что не знаю», думал он уже на улице, торопливо застегивая шинель...

Кабак на Мещанской шумел, гудел, качался, как душная корабельная каюта. Мусоргскому стало страшно, противно, в пьяном звоне, в качании, в этой мятежной, ползучей смуте и он понял, внезапно, что его мысли, любование своей честностью, совестью, какая будто бы болит в нем, его приятное раскаяние, его книжные планы перестройки мира, сбежавшиеся к нему по дороге на Мещанскую, все было обманом и мерзостью.

Он не за тем пришел сюда, он не знает, зачем ищет ту несчастную. Он ничего по настоящему не знает и не понимает, но кабак на Мещанской, звон, ползучая смута, трактирщик, равнодушно щурящийся из-за стойки, птица, благословенно певшая на закате, теперь бьющаяся в бессонном страхе, вот это и есть настоящее, безысходная смута, какая будет на свете всегда.

Он облокотился о стойку, изнемогший.

За ним позвенела арфа, в нестройном звоне пролетели обрывки небесной песни, какую слышал в метели.

Из чулана, протискиваясь в узкую дверку, входила рыжеволосая арфянка. Она сгибалась под арфой, под тяжестью железного крыла.

— У-у, тяжелая, — слышно передохнула арфянка.

— Было бы не пить вчерась, — равнодушно сказал из-за потертой конторки трактирщик. — С перепою силы потеряла...

— А тебе какое дело? — уперши полудеские руки в бока, передразнила певица. — С перепою... Ты, что ли, жирюга, поил?

— Брось шуметь, все одно задарма.

— Нет, не брошу, не брошу.

Неожиданно, некрасиво покривился рот, она огорченно заплакала.

— Аня, здравствуйте, вы не узнаете меня, — не вынес ее слез Мусоргский.

— И этот лезет еще, — визгливо закричала арфянка (она давно заметила Мусоргского). — Не узнаю... Подумаешь, все его знать должны... Очень узнаю, как же... Жадина, рубля пожалел... Офицеры. Плевать я хочу на офицеров.

— Позвольте, Аня, — совершенно растерялся он.

Она утерла слезы, злобно посмотрела сухими, тусклыми глазами:

— Чего позволять... Опять к себе потащишь, пенье мое слушать. Знаем вас. Пондравилось.

Так нестерпимо стыдно стало ему, что он потупился, растерянно теребя фуражку. Весь кабак будто качался, смеялся над ним.

Арфянка вытащила из-под кофточки скомканный платочек, утерла глаза и утихла:

— Вы опять ко мне пришли?

— К вам.

— Пожалуйста, если ко мне. Сядемьте к столу.

Он пошел за нею в угол. Там, под объявлением пивного завода, стена, коричневая от копоти и табачного нагара, текла струйками пара, точно потела.

Аня оправила кофточку, сунула платочек под юбку, на живот. Бледно-серая, с погасшими глазами, она делала все, как тихая машина.

— Надо заказать чего-нибудь. Я не буду пить. Для блезира. Полагается.

— Хорошо.

— Мне к вам ехать, или куда?

— Ко мне, но постойте же, я хотел вам сказать...

— Вы опять с разговорами. Не надо мне, пожалуйста, разговору. У меня голова очень болит. Устала.

Крепко сжатым кулачком она потерла лоб:

— Поедем, и все. Вот только тут еще петь должна. Кабы вы заплатили хозяину отступного за нонешний вечер, я бы с вами сейчас и поехала.

— Конечно.

Он встал, чтобы идти к стойке.

— Полтинник ему дайте, не больше, — с внезапным оживлением бросила она вслед, стала собирать со стола шубку и оренбургский платок. Она завязала его узлом на спине, узел съехал на бок. Она торопливо завязала под подбородком ленты шляпки.

Когда они садились на извозчика, она закрыла глаза, и, как в тот раз, прижалась щекой к его плечу. Оба молодые, ей, как и ему, едва ли минуло двадцать, офицер с девушкой могли показаться братом и сестрой, или женихом и невестой. Он вез ее к себе, как холодную покойницу.

— Извините, что я шумела давеча в трактире, — открыла она глаза. — Это верно, что с дурости, пьяная вчерась была. Вы недовольны на меня?

— Нет, совсем нет, — сурово ответил он.

У себя, в прихожей, в темноте, он сказал:

— Идите ко мне, устраивайтесь.

Постель была не убрана с утра, печь не топлена.

В чулане, за прихожей, он набрал дров. И с охапкой прошел в кабинет.

Аня сидела в потемках на диване, уже без кофточки, белели полоски ее белой сорочки на худых плечах, ей заметно было холодно.

— Я сейчас растоплю, — сказал он, присаживаясь на корточки перед печкой. — Вы ложитесь, пожалуйста . . .

— А башмаки можно снять? — робко спросила она.

— Конечно.

В потемках стукнули ее башмаки, она стала стягивать чулок с ноги, он почувствовал это по шелестящему звуку за собою. Что-то горячо и сладко толкнуло его от шелеста в грудь, он стал раздувать лучину. Огонь дружно осветил угол стола, ножку пианино.

Певица лежала на диване, закинувши под голову худые нежные руки. Она позевала тихо, потом поправила нечистую ленточку сорочки. Темнорыжие волосы сбились на подушке прядями:

— Тепло как. Огонь.

Он не ответил. Она позвала:

— Ну, что же, идите, что ли . . .

— Спите, Аня, понимаете, спите, и больше ничего. Я вас накрою пледом, шинелью, а вы спите, поняли?

Одна ее нога, босая, выглянула из-под пледа, пальцы изящные, длинные, узкие. Он осторожно обернул ей ноги пледом: они были холодны, как лед.

— Нянька какая, — слабо усмехнулась арфянка. — Как укрыл. Зачем. А вы куда же?

Мусоргский молча подвинул кресло к печке.

Аня приподняла голову и сказала неуверенно, с удивлением:

— Мне взаправду можно спать?

— Взаправду.

— Ну тогда спасибо . . . Вот спасибо, ей-Богу.

Она повернулась к спинке дивана, потянулась слегка дрожа, потом высоко подобрала колени и, спрятавши между них все еще ледяные руки, вздохнула с облегчением и благодарностью, что можно заснуть одной.

Дрова в печке обуглились, тихо развалились багряной чешуей. Мусоргский осторожно встал и, не глядя на спящую, неслышно прошел со свечей в прихожую. Он набрал там из ящика поленьев. У вешалки он задел шубку арфянки. Украдкой, точно делая что-то

стыдное или преступное, он осветил ее свечей: над шубкой соломенная шляпка с серыми лентами и зацепившейся на крюке прорехой тонкий оренбургский платок, бедная, пустая, затихшая оболочка Ани. От всего неуловимо и знакомо пахло ее прохладной свежестью.

Когда он вошел, арфянка спала, откинувши голую руку, по ее худым плечам неверно бродил погасающий огонь печки. Он обходил ее со страхом. «Соблазн, соблазн, — думал он. — Похоть, тьма, плен окаянный, но я не поддамся, ни за что».

Он стал на колени, начал вталкивать в печь полено. В потеплевшем воздухе кабинета он чувствовал тот же легчайший и живой ее воздух, прохладный, прелестный, и это было сильнее его. Упрямо глядя в огонь, он бормотал:

— Святые себе руки на огне жгли. И я сожгу, если так, сожгу . . .

И услышал за собою легкое шевеление. Он знал, что пошевелилась она, оглянуться было страшно.

— Послушайте, — позвала она шепотом, — я спала?

— Да.

— И верно, что спала. Подите сюда.

— Зачем?

Он встал и подошел к дивану. Отдохнувшая в тепле и благодарная за это арфянка пошептала, глядя на него светящимися глазами:

— Чего же вы все сидите . . . У меня тут тепло . . .

Тихо повозясь, она подвинулась к спинке дивана, слегка откинула с себя плед:

— Идите ко мне.

На него дохнуло ее живое тело, и тьма, сильная, беспощадная, пронеслась в нем, и сбила, сбросила его в сладостную бездну.

БЕГСТВО

Лиза Орфанти недели две ждала письма.

Вернее вспомнила внезапно, как Мусоргский говорил что-то о письме в прихожей.

За обедом, — отец любил, чтобы обеды были по-английски торжественны, — Лиза, черпая серебряной ложкой ананас, вспоминала с покорной грустью: «А письма нет». Когда она ездила с теткой в Гостиный двор, и снег из-под копыт холодной пылью обдавал лицо, она снова вспоминала о письме. К ней приходили подруги, две дочери английских купцов, веселые девушки с открытыми лицами в веснушках, младшая с причудами (она курила испанские пахитосы). Англичанки тащили ее играть на биллиарде. Лиза оживленно смеялась. Но вдруг что-то с силой сжимало сердце: «письмо».

Тогда она сама решила написать Мусоргскому. Это было немного смешно писать малознакомому офицеру, ее холодное достоинство было задето, но Лиза, понимая это и досадуя на себя, все же написала Мусоргскому, и одна, на прогулке, опустила письмо в почтовый ящик у Главного Штаба. В письме, правда, была всего одна вежливая строка: «Почему не заходите, не больны ли?»

Ответа не пришло, и Лиза неожиданно для себя, заплетая на ночь девичьи косы в спальне, перед зеркалом, расплакалась. Это не была обида или оскорбление. Это было чувство чего-то непоправимого; обречения.

Двумя днями позже, после партии в биллиард, когда веснушчатая англичанка от души восхищалась ее ловкими удрами, Лиза решила, что надо самой пойти к Мусоргскому, и стало странно, как она не подумала раньше: так это просто и необходимо.

Досадно было обманывать тетку, старую горничную, подруг (об отце она не думала), для которых такое посещение было бы настоящим скандалом.

«Все равно, пусть скандал», решила Лиза, и с совершенным бесстрашием и покоем, под предлогом головной боли, уехала от англичанок раньше, чтобы успеть побывать у Мусоргского до обеда.

В Петербурге уныло и шумно звенели вейки. Стояла масляница.

Она отпустила извозчика и пошла пешком вдоль белого канала, там было безлюдно. Зимний день светился в тишине. Барка с дровами, зазимовавшая на канале, живорыбный садок под снегом, все было грустно и бело.

В бархатном салопе, с собольй оторочкой, в кринолине, пряча от холода лицо в муфту, Лиза легко шла вдоль набережной. Ее узкие следы на снегу казались птичьими.

Если бы в Петербурге была Людмила Ивановна Шестакова, большой приятель Лизы по сердечным делам, она устроила бы так, что Лизе не пришлось идти к Мусоргскому. Но Шестакова уехала, кажется, в Тверь, по делам с казной, а с медиком Бородиным, забегавшим

раза два, Лизе мешала говорить о Мусоргском девичья гордость.

Она ни от кого не могла знать, что случилось с Мусоргским, а между тем у того уже вторую неделю жила уличная певица.

Страсти обычно неряшливы, и люди, охваченные страстями, теряют какую-то светлую, человеческую равномерность, гармонию, а вместе с нею и обычную опрятность, чистоту, перестают следить за собою, замечать себя.

Самые легкие и веселые люди от страсти как-то по-животному, тяжелеют и во всем, в походке, в глазах, заметно у них что-то бессмысленно-скотское, как, например, у охваченных страстью молодоженов, что, впрочем, не мешает им недели через две ссорится друг с другом, грубо и глупо, и чувствовать себя несчастными.

Так случилось и с Мусоргским. Он боролся, как мог, со своим жадным чувством, был побежден почти мгновенно, и подчинился.

Он был побежден, захвачен этим молочно-белым, худым телом, рыжей волной волос, зеленоватыми холодными глазами, равнодушным и послушным бесстыдством.

В его жизни точно все сдвинулось, нагромоздилось и начало плесневеть. Больше никакой жизни и не было, да и не надо никакой жизни, кроме той, какая началась у него с трактирной певицей.

Там, где целомудренная чистота Анисима оставляла на всем след тихого покоя и света, теперь все стало запущенным, загрязнившимся. Он, кажется, не выходил на улицу дней семь, а певица, накинувши на худые плечи платок, бегала в мелочную лавку.

С утра она приносила пиво, иногда они ели колбасу на желтой оберточной бумаге, или копченную селедку, как та была принесена, в промасленной газете. Груда тарелок в застывшем сале больше не мылась. На полу, под ногами, хрустел уголь. Все стало отвратительно неопрятным. Постель, сбитая, развороченная весь день, с грязными простынями, подушки иногда валялись на полу, в непроветренных комнатах нестерпимо холодно, они топили печь изредка, как придется.

Ему и ей на все было все равно. Он был одержим этим длинноногим и бесстыдным телом, а для нее это была одна из встреч, кабинетик Мусоргского, с пианино, нотами, с кожаным диваном, его человеческий дом, были для нее не чем иным, как номер дешевого отеля или меблирашек.

Она чувствовала, что какая бы она ни была, его все равно тянет к ней, и ходила в дурно застегнутой кофточке, неряшливая, с нечесаной копной рыжих волос. Она чувствовала, что взяла, победила его, что сильнее его, и все чаще становилась с ним груба и презрительна.

Сначала ей понравилось день-два пожить с молодым офицером, она сбегала на Подъяческую и принесла оттуда узел с рваными чулками и сорочками, поштопанными небрежно, комок измятых юбок и кофточек. Но уже на четвертый день она заскучала. Тогда с утра она стала приносить из портерной пиво и вино. Мусоргский пил очень мало, только отпивал из ее стакана, но ему нравилось, что от вина смешнее и теплее, а главно — все возможнее. Иногда, после стакана вина, он играл ей громко, тревожно, точно громоздя звуки, так же, как все теперь было нагромождено кругом.

Она слушала его игру равнодушно, потом начинала зевать или злиться. В тепловатом и противном тумане вина он чувствовал с досадой, что все, что казалось ему

раньше великим, необыкновенно-прекрасным, становилось каким-то тупым, мертвым звоном, точно дыхание отлетело от его музыки.

Тогда он злился на нее. Они оба стали злиться друг на друга. Арфянка презирала офицеришку с музыкой.

Со второй недели она начали ссориться. Утомленный и пресыщенный, он уже желал расстаться с нею.

Вейки смутно звенели, звенели в Петербурге.

Утром того дня, когда Лиза Орфанти решила пойти к Мусоргскому, арфянка с пожелтевшим злым лицом стояла у замерзшего окна и чертила по стеклу, соскабливая иней.

— И чего вам меня, право, держать, — говорила она со скучным равнодушием. — Отпустили бы, чего...

Когда между ними начиналась ссора, она переходила с ним то на «вы», то на «ты».

Куда тебя отпустить?

— А никуда... Куда хочу... Меня купец один ждет.

Он охотно отпустил бы ее, но его задело, что она первая заговорила об этом.

Он лежал на развороченной постели. В кабинете волокся с ночи табачный дым, всюду валялись окурки, какие-то бумажки, на столе был рассыпан табак.

— Иди, куда хочешь, что я тебя держу, что ли?

— Правда, можно?

Она не поверила. Он не ответил, отвернулся.

Вдруг она стала разбрасывать свое тряпье, кофточки, рвань, с быстротой натянула через голову синюю юбку, тут же приколола на боку английской булавкой.

Мусоргский начал следить за нею с угрюмым вниманием.

Именно эта быстрота, желание уйти как можно скорее, кошачья спешка разозлили его.

Она шуршала, возилась, потом вышла в прихожую. Он мгновенно вспрянул с постели и босой побежал за нею.

Он застал ее, когда она торопливо завязывала ленты соломенной шляпки, точно чуяла, что помешают бежать.

— Ты никуда не пойдешь, — бледнея, сказал он и потянул узел к себе.

— Нет, пойду, не смеешь меня держать, какой нашелся!

— Не разговаривай, давай узел.

— Не дам.

С бессмысленными словами об узле они смотрели друг на друга, и лица их побелели, потончали от злобы.

В прихожей позвонили. Он с силой толкнул ее во вторую комнату, пошел отпирать. Дворник принес дрова.

Там, где все было запущено, в сору, дворник, — чего не осмелился бы никогда раньше, — сопя от натуги, свалил с гулом вязанку посреди кухни и ушел, даже не прикрывши дверь.

С лестницы дуло. Они чувствовали сквозняк, поджимали ноги, но снова с жадной охотой отдались ссоре.

— Уличная собака, — сказал Мусоргский с негодованием.

— Хорош, а еще благородный... Да плевать на тебя хочу... Пусть собака. Мало, что ли, у меня таких кобелей... Извольте пустить меня.

— Не пущу.

— Тогда я стекла бить стану, мне шкандал нипочем... Пусти!

Где-то в глубине ей нравилась их злая ссора. Мусоргский, бледный, загородил дорогу, сжал ей обе руки:

— Сказано, не пущу...

— Не удержишь, нет! Плевать на тебя хочу, все равно уйду.

Она вывернула от него руки, потерла покрасневшие запястья:

— А еще барин, куда тебе...

Мусоргский отступил в невыносимом стыде. Он не ждал, что такие грубые чувства может поднять в нем эта уличная женщина, ненужная ему больше.

— Видали мы таких, — с ярым торжеством говорила она, чуя, что он побежден, что теперь она может выместить на нем все, что хочет. — Очень мне надо с тобой возжаться. Таких, как ты, бить надо, бить! Все моему купцу расскажу, как офицеры дерутся, а то пестренькому...

— А то гробовщику, — сказал он, снова бледнея. Она разворошила в нем что-то самое низкое, и глубокое, — зверя.

— А конечно гробовщику, он куда лучше!

С бесстыдством, крича, наступая, она стала сравнивать его с другими встречными властителями и все, самые мерзкие, самые подлые, выходили лучше, благороднее, добрее, чем он.

— Молчи, дрянь! — он отбросил ее в угол. Ей не было больно, но она нарочно закашлялась, нарочно отдалась рыданиям, сухим, злобным, без слез. Она была привычна к таким ссорам или вроде таких, и к побоям, и даже злобно радовалась его ярости, как он с неожиданной силой отбросил ее.

Мусоргский опомнился:

— Аня, да что же это такое, наконец, делается?

— Оставьте меня...

Она заплакала тише.

Лиза Орфанти поднималась в это время по черной лестнице, где пахло кошками. Ей не было ни странно, ни тревожно и дышала она учащенно только потому, что быстро вбегала по ступенькам.

Дверь на площадку, усыпанную берестой от вязанки, была полуоткрыта, и Лиза услышала жадные, смутно спорящие голоса. Тогда сердце ее упало от такого острого страха, что она сжала у груди маленькие руки в шведских перчатках. Потом она слегка толкнула дверь.

С одного взгляда, окинувши запустение, грязь, вязанку с торчащими поленьями в прихожей, груду сальных тарелок на табурете, а в другой комнате, у окна, Мусоргского и какую-то рыжую, очень молодую женщину, не то плачущую, не то смеющуюся, Лиза поняла все. Она очень мало знала о жизни, но она поняла все ясной своей целомудренностью, и чувство брезгливого стыда и отчаяние охватили ее.

Совершенно бесшумно, она сбежала вниз по лестнице, пробежала проходной двор, не в те ворота, в какой-то проулок. Она заметалась. Мгновение ей казалось, что она никогда не найдет дороги из проулка, но вот открылась безлюдная белая набережная, чугунная решетка, барки, канал в снегу.

— Кто-то был здесь, постой, — сказал Мусоргский. Они оба прислушались.

— Нет, никого, послышалось . . .

Только спокойные, неторопливые шаги верхнего жильца над головой.

Лиза узнала на набережной свои недавние следы. У нее не было ни горечи, ни оскорбления, точно бесчувственная шла она назад.

Под аркой Главного Штаба, посмотрела на синий почтовый ящик с черным двуглавым орлом, тот самый, куда четыре дня назад опустила письмо, и почувствовала, что у нее нет больше сил идти, что некуда и незачем больше идти, что все кончено. Она не могла бы сказать, что именно кончено, но в ней померкло что-то, закрылось. И синий почтовый ящик с горкой снега на крышке показался на мгновение могилой.

Еще вчерашний ее день был необыкновенно светлым, счастливым; теперь, точно свет померк в глазах и будет меркнуть все неумолимее. Ее ноги подкашивались. Тогда она, как ее учили тетки и мать, как мудро говорили в ее крови все бабки и прабабки, — сильные, сдержанные, чистые женщины, — тяжелым усилием стряхнула свои чувства, овладела собой. Чем-то отчаянным и темным овладела она в себе. На шее, на черном шелковом шнурке, у нее были маленькие золотые часики в бриллиантовых розах, выписанные отцом из Парижа. Уже было время обедать, время домой.

Она не желала опаздывать, не желала, чтобы дома заметили что-нибудь. Она подозвала проезжающего извозчика, белоглазого мальчишку с отмороженными щеками. «Время домой», — повторила она твердо, прикрывая лицо муфтой и это слово «время» напомнило ей стихи Екклезиаста, какие так сильно и строго, грозя кому-то пальцем, читала ей вслух по-немецки тетка.

Время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать насаженное, время убивать и время врачевать, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время любить и время ненавидеть.

«Не сошлись наши времена, вот и все», с горькой и умной усмешкой подумала Лиза. И почему не сказано

в Екклезиасте, как не сходятся у людей их времена: одним рождаться, другим умирать, одним любить, другим ненавидеть, одним искать, другим терять.

Другим терять. Ей стало спокойно и горько. Она потеряла его. Белая площадь, Александровская колонна в инее, могучая, темная арка Главного Штаба, все показалось ей печально холодным стихом Екклезиаста.

После ссоры, Мусорский и арфянка закусывали на кухне. Арфянке надоело скандалить и что-то кошачье мелькало теперь в ее зеленоватых глазах. Она первая сказала примирительно:

— Ладно, надо и поесть чего-нибудь, не евши с утра...

После таких ссор у обоих был очень сильный аппетит, а у Мусоргского особенно нежное и горячее влечение к ней.

Они ели стоя, одной вилкой, колбасу с бумаги и соленые огурцы, принесенные утром из мелочной лавки, запивали пивом. Хлеба на двоих было мало. Они то делили его, то вырывали друг у друга.

Мусоргский невольно следил, как она склоняется над столом и падают рыжеватые пряди на белый затылок, как небрежно ее кофточка расстегнута на груди, и понимал, что вся его сладостная жалость к ней, какую он почуствовал с первого мгновения, еще у «Неаполя», была жадным желанием. На кухне он стал целовать ее, а она смеялась и пускала в лицо табачный дым.

Позже, в потемках (ни он, ни она не знали точно, вечер это или ночь, дни смешались для них, и они спали и бодрствовали, как придется), она прикрыла его на диване пледом, чего не делала раньше, положила его голову к себе на колени:

— Ну, спи, — сказала она и стала гладить ему волосы.

Что-то холодное и расчетливое было в ее ласке. Мусоргский задремал на ее коленях. Раза два он дрогнул во сне, точно его потрясла судорога. Каждый раз она тоже вздрагивала, мгновение смотрела на него, пристально, зловеще, ее глаза светились в потемках.

Он содрогался во сне от того, что видел высокие стены, железные лестницы, по каким надо было карабкаться, глухие темные дворы в снегу, по каким надо было бежать, бежать, чтобы услышать удивительную песню.

Проснулся он от нестерпимого холода, поднял голову. Вероятно, стояла глубокая ночь.

— Аня, — позвал он тихо. — Мне холодно . . .

Никто не отозвался, его голова лежала без подушки, на диване. Он прислушался и по тому, как звенит в ушах тишина, понял, что один.

— Аня, — позвал он громче, сбросил ноги с постели.

Когда он зажигал свечу, руки тряслись. Со свечей он вышел из кабинета. В прихожей, на вешалке не было ее шляпки, не было узла, какой она оставила давеча на табурете.

Она даже не прикрыла за собой дверь на лестницу. Оттуда дуло стужей. Тогда он подумал, что она не только сбежала, но непременно обокрала его.

В кабинете, куда вернулся, он нашел на письменном столе свой вывороченный бумажник.

Она взяла его последние двадцать рублей и серебряные часы, еще времен школы гвардейских прапорщиков, и настольные часы его матери, с ветхим трубящим амуром.

Это воровство рассмешило его, он громко и весело сказал в потемках:

— Вот так амур со свирелью... Все часы утащила.

И рассмеялся добродушно, с чувством веселого облегчения, без злобы на эту уличную девушку, так ловко сбежавшую от него.

Часы наверху пробили, точно кто-то простучал три раза торопливо, предостерегающе.

ВСТРЕЧА

С утра, после бегства Анны, у Мусоргского появилась необыкновенная охота чиститься, вымести из комнат сор, окурки.

Он позвал дворничиху вымыть пол, а до ее прихода, засучивши рукава вишневой косоворотки, потряхивая влажными белокурыми прядями (так он походил на добродушного маляра), с метелкой анисимовых времен, забирался на стулья, обметал потолки, паутину в углах, насвистывая при этом беззаботно, как зяблик или щегол.

Он вымел из комнаты груду оберточной бумаги, газет, откуда только набралось столько дрязгу за десять дней. Пришла дворничиха, хмурая чухонка, с ведром горячей воды, от которой шел пар, и с мочалкой. Чухонка посмотрела на заслеженные полы, сказала:

— Щелоку надо.

Он оставил ее одну, сам собрался в баню.

Вечером, разогретый баней, румяный, с такими блестящими, мелко завившимися волосами, точно от них шло сияние, он сидел у себя в кабинетике и из самовара, поставленного чухонкой, пил чай с лимоном.

Он пил с блюдца, прихлебывая довольно шумно, в полном наслаждении так же, как пьют чай после бани солдаты, купеческие приказчики, монахи или мужики.

Воркотня самовара, а, главное, запах сырых, высыхающих полов, свежей мочалки, был так хорош, что у него стало все свиваться в смешливую песенку, в русское мурлыканье.

Он чувствовал себя необыкновенно сильным, свежим и чистым. Со стаканом чая, еще горячим, Мусоргский подвинул кресло к столу и начал рыться в своих набросках и заметках.

Никогда он не работал так легко, весело. С удивительной быстротой он набросал романс, и наметил ход нового скерцо. С удовольствием, приятным баритоном, он пропел за пианино свои наброски. Все было удачно.

Его постель, вымытая и выветренная дворничихой, с холодными простынями, пахнущими морозным дымом, показалась ему чудесной. Он уже стал откидывать прохладное одеяло, когда вспомнил, что ни разу за эти дни не заглянул в почтовый ящик.

В ящике была повестка на почту, на пятьдесят рублей. Еще в первые дни, когда была тут уличная певица, он писал матери, просил сто рублей. Она прислала из Торопца ровно половину. От полкового адъютанта была казенная записка, конечно, с вызовом в полк, пачка газет, и голубоватый узкий конверт.

Это было короткое письмо от Лизы Орфанти, почему не заходите, не больны ли. Мусоргский читал при свече. Слегка наклонный почерк, буквы какой-то девичьей чистоты на голубоватой шершавой бумаге, и то что он ни разу не подумал о Лизе, все подняло в нем горькую досаду.

— Ах, беда, как же я так, — пробормотал он со щемящим стыдом, и поцеловал на голубоватом листке подпись «Елизавета Орфанти».

Потом, устраиваясь под пледом, он с удовольствием подумал, как с утра отдаст в чистку белые перчатки,

мундир в красильню (там надо вывести жирное пятно на поле), как завтра же пойдет к Лизе и все объяснит, вернее, ничего не объяснит, придумает что-нибудь, какой-нибудь пустяк. Не Лизе, с ее чистотой, знать о несчастном кабацком существе.

Спозаранок, на другой день, он был в хлопотах, бегал в красильню и к перчаточнице, стригся у парикмахера и долго проветривал волосы от несносно пахучего фиксатуара.

Ему казалось, что сегодня воскресенье или большой праздник, хотя это был самый будничный вторник.

Он вытопил печь и, дожидаясь, пока принесут из чистки мундир, наслаждался теплой чистотой и покоем. У окна, на полу, краснело зимнее солнце, по нему пролетали морозные тени, это было необыкновенно хорошо.

Закинувши обе ноги на поручень кресла, в такой неудобной позе, он начал переправлять скерцо, набросанное вчера. Легкие, поющие, как бы дымчатые звуки, казались ему похожими на морозные тени солнца.

Потом он испугался, что может опоздать к Лизе, стал с торопливостью надевать мундир. Он точно готовился к парадному смотру или к светлой заутрене.

Журфиксы у Орфанти начинались не раньше шести, у него было время.

На Исаакиевской площади он заметил, как под громадные порталы недостроенного собора, под стылую колоннаду в лесах, по гранитным ступеням, подымались люди, военные и штатские, бабы в платках, две-три барыни в салопах. Повидимому, началась какая-нибудь служба перед праздником, или вечерня, хотя на улице было светло.

Мусоргский пошел за другими в собор. Громадные темные двери, в кованой бронзе, открываемые, кажет-

ся, только раз в год на Пасху, торжественно мерцали в инее. Около них была маленькая дверка теплого подъезда, обитая войлоком и зеленым сукном.

Мусоргский снял фуражку в притворе. Собор был совершенно темен, огромен, в холодном пару, кучки людей казались смутными тенями в каменной пустоте и полутьме. Зеленоватая яшма сумрачно выблескивала на простенках и только огни синих и красных лампад подымались теплой волной у алтаря.

В соборе еще шли работы и пахло сыростью, известкой. Далеко, в этом холодном сумраке пел хор. «Кажется, Бортнянского». Мусоргский рассеянно перекрестился и подумал, что вот собрался, как на именины, к Лизе, а сам не смеет взглянуть на ее чистоту.

«Господи, прости меня за все», равнодушно подумал он и нарочно часто закретился.

Хор пел что-то очень светлое и печальное. «Конечно, Бортнянский». Мусоргскому стало почему-то жаль сухого старика в шинели, стоявшего рядом, как у старика слезится глаз, Лизу, и себя, всех. Почему-то он вспомнил нежное и худое лицо арфянки с зеленоватыми глазами, ее движения, неприметные для нее самой, слабые, полудетские движения, и как она дышала неслышно и чисто во сне. Только теперь он увидел все грустно-смешное и детское, что было в ней, сквозящий, чистый свет.

«Господи, что же это такое?», подумал он со страхом. Ему показалось, что здесь, в гулком соборе, когда священник возглашает о царстве небесном, его душа, потемненная соблазном, отверженная, на месте молитвы, отдается мечтанию о низких желаниях.

Но через мгновение он понял, что это не соблазн, не желание, не грех, что так подумал об Анне, а что не будет ему прощения за Аню, как бы ни пытался за-

быть ее, что Аня самое главное, настоящее, что есть в его жизни.

— Господи, прости меня грешного, — торопливо закрестился он, мелко и косо.

С чувством непоправимого, непростительного, и вместе с тем чего-то необыкновенно светлого, нечаянного, как хор Бортнянского, он сходил по гранитным ступеням Исаакия.

Он шел по набережной, потом по Николаевскому мосту, где снег был посыпан крупным бурым песком. Он не сразу почувствовал прозрачное светлое сожаление, тихо сдвинувшее что-то в самой глубине, он только подумал: «Зачем я, собственно, иду к Лизе, не надо к ней идти», и с усмешкой посмотрел на свои белые перчатки, вспомнил, как парикмахер на Гороховой нафиксатуарил волосы. «Прямо жених».

Февральский день кончался тихо. В воздухе была сырая тишина перед оттепелью.

На Васильевском острове, в низком особняке Орфанти еще не зажигали огня. Лиза была одна в гостиной, когда странная и печальная сила позвала ее к окну.

В саду тихо белел снег, и за деревьями, на проспекте, она увидела Мусоргского.

Он стоял на мостовой, теребя белые перчатки, смотрел на их окна, потом повернулся и быстро пошел по проспекту.

Лиза, изумленная, взволнованная, бесшумно кинулась к другому окну, к двери, но послышались мирные, сытые голоса. В гостиную вошел отец с гостями.

— Лизхен, куда?

Голос отца остановил ее на самом разбеге.

«Куда, правда?», не бежать же на улицу, и ей могло показаться, что там Мусоргский. Ей некуда бежать.

— Я никуда . . .

Она обернулась твердо, в совершенном самообладании, только очень бледная, даже губы побелели:

— Я никуда, папа, — повторила она еще спокойнее, но в голосе был глухой, неживой звук, точно от долгого бега пресеклось дыхание:

— Я думаю, пора зажечь свечи.

— А я привел к тебе моих гостей.

— Очень рада.

Начался пустой холодно приветливый разговор. Она не всматривалась в бодрые и довольные лица английских и немецких негоциантов, но она догадывалась, что отец уже выбирает ей кого-нибудь из них в мужья, потому и приводит все чаще в дом. Ей было все равно. Ей надо было только незаметно взглянуть в окно.

За окнами потемнело, мгновенно, по петербургски. Едва белелся снег в саду. Там не было никого.

Она села в кресло. Одни сели, другие стояли около нее. Она начала холодно рассматривать этих вежливых, хорошо одетых, свежих и веселых людей.

Впервые с пристальным вниманием она стала вслушиваться в разговоры. Это были вежливые разсказы и негромкие шутки, нельзя сказать, чтобы неудачные. Один, с кривыми зубами, в бархатном жилете, рассказывал о Египте и Борнео, куда его занесло по делам корабельной компании.

Все они много видели, много знали, удачно и со вкусом могли говорить о новостях театра, литературы, музыки, о скачках в Лоншане, биржах, модах. Они все были богаты, дела у них или их отцов шли хорошо, и в том, как они с чувством своего превосходства и легкой

иронии судили актрис, музыкантов, художников, как они, с покровительственным презрением удачников, толковали обо всем на свете, видно было, что они считают себя умнее всей жизни, относятся к жизни, как к послушной служанке, какая только и должна быть занята тем, чтобы устраивать им удобства, комфорт.

Эти молодые люди, богатые голландцы, англичане и немцы, показались Лизе похожими на хорошо отшлифованные стекляшки. Она подумала, что они, как стекляшки, благодаря своей гладкой шлифовке, впитывают в себя все лучи жизни, хорошо отражают их, но сами для жизни совершенно ничто.

Не эти господа, и не их консервы из солонины, думала Лиза, и не какао в новой упаковке, создают жизнь, живую, звучащую, вечную, ради какой только и стоит жить, а вот такие люди, как тот белокурый бедняк-офицер, неизвестный миру музыкант.

Теперь и ее жизнь станет погасшей стекляшкой без живых лучей. Лиза почувствовала свою рассеянность и заставила себя улыбнуться на какую-то вежливую шутку англичанина.

Мусоргский между тем уже вернулся к себе. Его наполняла трезвая бодрость и он не жалел, что не пошел к Орфанти.

«С Лизой тоже кончено, — твердо решил он, устраиваясь у стола. — Мне надо быть одному и работать». Эта бодрая сухость и одиночество нравились ему. Он стал перечитывать вчерашние записи.

Новая свежая сила пробивалась в набросках. Если бы он попытался теперь написать то, что уже давно называет симфонией в образах, о душе царя Бориса и о Дмитрии Царевиче.

Он работал до самой ночи. Потом потушил лампу. Окно светилось зеленовато и смутно. Тогда он медлен-

но вышел в прихожую, поискал фуражку и, все еще думая о царе Борисе и убиенном царевиче, вышел из дому, глядя прямо перед собой, в странной задумчивости.

Он перешел двор и на канале кликнул извозчика.

— На Мещанскую...

Лицо трактирщика выплыло из мутного гула, равнодушное, желтоватое, как у китайца:

— Нет ее у нас, ваше благородие. Намедни арфу выкупила и с нею ушла, а куды, нам неизвестно. Впрочем, позвольте-с.

Хозяин подозвал иссохшего чахоточного полового. Они чего-то шептались, половой небрежно стоял спиной к Мусоргскому, в его костлявых пальцах пошевеливалась замызганная отвратительная тряпка.

— Нет-с, — повторил трактирщик. — Ничего-с неизвестно...

Мусоргский так и думал, что Анны не будет на Мещанской.

Он приказал извозчику на Васильевский в «Неаполь» у Девятой линии, где впервые услышал ее голос.

Зимняя ночь перед оттепелью стояла тихая, безветренная, рыхлый снег заглушал звук копыт. Небо было в звездах, тронутых легким туманом.

В «Неаполе» тушили огни. Старичок-лакей в просторном фраке с чужого плеча, с затертыми до глянца локтями, стоя на соломенном стуле, задувал последнюю лампу.

— Кого-с, какую Аню? — кряхтя, сошел он со стула.

— Не знаем такой арфянки Ани, уже заведение закрываем... Может вы ее в «Веселой Долине» сыщете, на Крестовском, там арфянки поют...

Он поехал на Крестовский, чувствуя, что и там не найдет.

На проспекте было пусто, угрюмо, кое-где горели керосиновые фонари. В голых деревьях сыро шумел ветер с близкого взморья. Ани не было в «Веселой Долине».

Чернобородый извозчик, с ввалившимися щеками, с горячими, как у схимника, глазами, молча, как глухонемой, возил молодого офицера по всему городу, по второразрядным кабакам, трактирам, косясь с удивлением на странного седока. Косилась как будто на него и костлявая гнедая кляча.

В грязном, смутном свете газовых рожков и свечей, Мусоргскому открывалось убогое зрелище петербургского ночного гульбища, то низкие залы в табачном удушье, полная крика, глухого звона арф, пронзительного пения, то один только пьяненький чиновник, натоптавший снегом и заснувший у стойки, то визг цыганок и гитары, то глухая, медвежья драка в углу, хрустящие осколки бутылок на покоробленных половицах, где стоит черная лужа крови, то толпа лохматых студентов, нестройно вопящих что-то, как на похоронах, то снова где-нибудь старенький, согбенный от усталости, лакей в замасленном фраке с толкучки, задувающий последнюю лампу.

Арфянки не было. Ему стало казаться, что кабацкие женщины, подходившие поговорить с ним, — иногда накинувши платок, иногда с папиросой, — желтые, обрюзгшие, ужасно намазанные, знают, где Аня, но не скажут, так и будут потешаться над его мыканьями по Петербургу.

— Надо думать, гуляет с кем, а вы ищете, — с усмешкой сказала ему в «Яре», на Петербургской тяжелая женщина в бархатном черном платье.

Там, в полупогашенной зале, за сдвинутыми столами кричали и бранились запившие сенатские канцеляристы.

«Конечно, так и есть, гуляет», подумал Мусоргский и это почему-то успокоило.

На Петербургской он отпустил извозчика, пошел домой пешком.

Он любил деревянный Тучков мост, больницу Марии Магдалины, скромную тишину Первой линии Васильевского острова. В доме Орфанти, на проспекте, за тихими, точно насторожившимися при его приближении деревьями, все окна так пусто темнели, точно дом был необитаем. Уже белел рассвет ...

На другой день в Петербурге стала тяжелая оттепель, все сновало, кишело в тумане. В сырой мгле у лошадей екала селезенка.

Мусоргский спал долго, бледный, недвижный. День для него начался поздно.

В сумерках, без цели, он вышел из дому. Шорох оттепели, туман, звучал как бы одной тупой нотой, угрюмой и безнадежной. Он подумал, хорошо бы этот звук ввести в его раскольничью песню, и вспомнил лекаря Бородина.

Чтобы убить время, он решил пойти к маленькому медику, который звал его к себе еще на ночном дежурстве.

Он таким и представлял дом на Екатерининском канале, скромный, чистый, с деревянными мостками, посыпанными у ворот красным песком. Дом был похож на лекаря, вероятно, опрятной скромностью.

На мосточках у ворот, он увидел и самого лекаря, уже озябшего, в шелковом белом шарфе и в белых перчатках.

— Я к вам, — сказал Мусоргский, — а вы удираете...

— Это удивительно, что это значит?

— Что?

— Я только что думал о вас.

— Бывает.

— Какая досада, Модест Петрович, как хорошо попили бы чайку, поговорили... А не могу сегодня, никак не могу. Приглашен на итальянцев.

— Доброе дело.

— Постойте, да пойдем вместе. Мы вас как-нибудь впихнем в ложу. Меня Орфанти пригласили, вам будут рады.

— Орфанти?

Синие, озябшие глаза Бородина чуть блеснули, медик рассмеялся прозрачно и застенчиво:

— Слушайте, Мусоргский, Лизавета Альбертовна прелестная девушка.

«Эге, Мечтатель, да никак ты влюблен», подумал Мусоргский, не чувствуя ни обиды, ни ревности.

— Равномерность в ней есть, что ли, удивительная гармония.

— Я с вами согласен: она прекрасная девушка, — охотно подтвердил Мусоргский, подумал, «пойти разве в театр, все равно некуда деваться».

— Вам, право, следовало побывать у них, хотя бы перед отъездом. Лизавета Альбертовна уезжает нынче что-то очень рано в Италию, упросила отца.

— Так, — сказал Мусоргский и подумал: «Вот и хорошо. Все свои чувства к ней я начисто выдумал. Я не люблю ее. И она даже не думает обо мне», и глотнувши холодного пара, добавил:

— Ну, поспешайте, а то опоздаете к представлению.

— А вы разве не едете на итальянцев?

— Рад всей душой, да беда, занят... Прощайте, Александр, Александр, простите, забыл, как по батюшке?

— Порфирьевич. Как вы странно, право, уходите.

— Чего странно, занят, служба, благодарю от души, но не могу.

Они распрощались. Маленький лекарь вскоре расплылся в сыром тумане.

Мусоргский остался один. Люди и кони двигались, как тени. В тумане все дышало тяжко, сопело, чавкало, точно это была влажная поступь самого бытия, бессмысленно волочащегося вокруг.

«И пусть там поют итальянцы, — думал он. — А вы их слушайте из удобных кресел. Вы недотроги, вы чистые, вы мечтатели. А вот я грешник, проклятый, я грязный, как эта улица. А я вот может в кабак пойду, от одного вида которого вы упали бы в обморок. Я не могу отделять себя от всех, от такой жизни, какая есть, без ваших удобных кресел, без итальянских рулад. Мне нестерпимо по иному жить. Не хочу, не согласен... Господи, воззри на меня. Ты, Господи, страдал, за всех униженных, оскорбленных, за самых отверженных... Люди без имени, отребье земли... За них, Господи, за всю эту Мещанскую улицу и за Аню, худенькую, за рыжика, чтобы переменилась человеческая жизнь, перестала быть кромешной тьмой. Господи, но когда осталась тьма, дай и мне пострадать, как Ты. Сожги, меня, Господи, когда надо. А так я все равно не могу. Я изнемог, вот что. Это Анна дала мне что-то услышать. И вот, я услышал, и вот как будто пристанище на земле потерял, брожу, брожу».

Он шагал в тумане, без цели и его мысли показались ему каким-то оправданием, и забвением, жалобой и молитвой.

Он подумал, что может узнать об Анне в «Самарканде». Извозчик сказал, что «Самаркандов» четыре. Он объехал все. Анны там не было.

В тот мутный вечер, он выпил у стойки стакан портвейна или бордо, ему было все равно, он ничего не понимал в винах, но легкое опьянение стало приятно.

Женщины в румянах, с чолками-начесами на лбах (чолки тогда начали носить и в Питере, по примеру Парижа), трактирые арфянки, певицы, с жарким блеском подведенных глаз, но смесью бесстыдства, низости и наивности, казались ему, в его опьянении, сестрами Анны.

В тот вечер, в трактире, на Выборгской стороне, из темного угла у стойки, где обычно отдыхают арфянки, его позвала скромная женщина, в клетчатом платке. Против женщины сидела девочка лет семи, в светлые волосики вплетен бант. Болтая ножками, она ела хлеб с колбасой из рук матери.

— А вы все ищете Аню, — сказала скромная женщина, тут прикрикнув на ребенка: — Да сиди ты, непоседа.

— Откуда вы знаете? — смутился Мусоргский.

— У нас все знают, по трактирам . . .

На столе стояла клетка, какие арфянки носят с собою по дворам. Птица, неизвестно какая, кажется серый дрозд, заершенная, быстроногая, тянула билетики счастья.

— Дяденька, возьмите билетик, — сказала девочка с набитым ртом.

Быстроногая птица захлопотала клювом в ящике под клеткой. Мусоргскому выпала планета Сириус, богатство, знатность, слава, но надобно бояться туза треф, числа 15 и четвергов.

— Может, кто знает, где Аня, — сказала женщина с грустным сочувствием, — да для смеха вам не говорят.

— Я так и думал...

— И она вас тоже видела раза два, как вы в трактиры заходили. Она черным ходом убегала.

— Но почему же?

— Боится, вы на нее в полицию донесть, будто, можете...

— Скажите ей, когда так, что она дура. Так и скажите: дура. Какая там полиция.

— Ну вот, как же сказать.

— А это кто, ваша дочка?

— Дочь. Я вдова, мой муж гравером был. Видел бы, как нам приходится с нею...

Мусоргскому стало скучно, что она сейчас заплачет.

— А где Аня, вы не знаете? — спросил он.

— Сейчас, правда, не знаю. Кто-то говорил, она на Малые Вишеры уехала.

— Но почему на Вишеры?

— Сами, извините, знаете: гулящая. Ей все одно: отчаянная...

Теперь он, по крайней мере знал, что ее нет в Питере и не сомневался, что вернется, что встретит ее непременно.

Его начал привлекать теплый шум ресторацией, где он проводил вечера, ожидая ее, и это легкое опьянение, когда все становилось как-то проще, лучше, возможнее.

Арфянки пели песни о горькой любви, о тоске желаний. Они пели страстно и печально, иногда еврейские, иногда немецкие, бесконечно мягкие мелодии.

Их кабацкие песни были полны горячего волнения. И когда, чуть нетрезвый, облокотясь на стойку слушал пение, ему, как и другим, казалось, что певица, поблескивая глазами, поет ему одному, и что только одному ему на всем свете понятна горячая тоска, горькая любовь.

Ночью, он возвращался к себе.

Морозное небо синело над двором. Звучно стучали шаги по мосткам.

Он думал, что следовало бы написать сонату для одних арф, и назвать «Песня Песней», на одних приливах и отливах арф, на могучем ропоте, и чтобы пели арфы, может быть тысячи арф, о любви, дышали бы томлением и желанием, всеми страстями, грехом, но чтобы сквозь приливы и отливы земных прибоев стало бы проступать светлое дуновение, тишина сил небесных.

На черной лестнице он послушал шарканье своих шагов и, считая ступеньки, осевшие от столетия, по каким подымалось столько людей, от кого и памяти не осталось, подумал, что это тоже удивительная тема «Шаги», поток шагов, смутное движение ног, и уже никогда, никому не узнать кто проходил здесь, точно лица всех живых во тьме, а ноги идут, идут.

И на площадке, перед дверью, увидел в темноте Анну.

Она сидела на окне, подобравшись в комок, ноги не доставали до каменного пола. Она бесшумно соскользнула с окна, поджала обе руки под платок. Слегка светилось в потемках ее похудавшее лицо. Он подошел к ней, откинул платок, взял ее крепко за руки. Его губы дрожали:

— Где же ты пропадала, послушай . . .

— Холодно как, — прошептала она. — Замерзла вас дожидаючись.

Он почувствовал в глазах колючие слезы и, чтобы она не заметила, стал отпирать дверь, не находя ключем скважины.

— Не гони, — прошептала она.

Он вошел впереди, зажег торопливо лампы, в столовой и кабинете. Осветилось все. Когда он вернулся в прихожую, она так и стояла, поджавши руки под платок.

— Не гони, — прошептала она.

Теперь он увидел, что ее рваный оренбургский платок повязан узлом на груди, что на худом лице, у глаза, темная полузажившая царапина, синяки.

— Тебя били? — сказал он тихо.

— Били.

У нее зуб на зуб не попадал, вдруг она вскрикнула жалостно и стыдливо:

— Да не смотрите на меня так, чего смотрите . . .

— Иди, я тебе согрею воды, умоешься, чаю поставлю, иди в постель . . .

Он повел ее под руку в освещенные комнаты. Она плакала обиженно, жалобно.

— Что же ты, Аня, какая ты, право, чего же плакать, — утешал он.

Он усадил ее на диван, начал снимать ее неуклюжие сиротские башмаки, с ушками, точно неживые.

Он принес ей помятый таз с горячей водой, гребень, чтобы расчесать волосы, губку, кусок простого, серого мыла.

Она сидела, накрывшись его офицерской шинелью, дрожала, и плакала с горьким детским отчаянием.

— Простите, что я вас тогда обокрала, дрянь я, подлая, воровка, простите.

— Хорошо, прощаю, вот умойся ... Я выйду.

Он прикрыл к ней дверь, с таким чувством, какое бывает, вероятно, у хозяина, когда к нему возвращается сбежавшая собака или кошка, истощавшая, в клочьях шерсти, с порванным ухом и с позвонками, выпирающими на тощей спине.

Ему было все равно, уйдет она завтра, обокрадет его снова, сбежит или останется. У него было только чувство жалостной благодарности, что сегодня она вернулась, и снова спит на его диване и ее темно-рыжие волосы заплетены, как у девочки, кичкой и повязаны тесемкой (она всегда так собирала волосы после мытья).

Поверх пледа он накрыл ее старым ковром, чтобы ей было теплее и бесшумно отошел в своих татарских мягких сапожках.

ПОЕДИНОК

Анна проснулась поздно. Она смотрела, как Мусоргский, согнувшись, пишет за столом. Потом небрежно собрала в косу рыжие волосы и поискала под постелью кончиком ноги башмак.

— В лавку, что ли, пойти, — сказала она, лениво зевая. — Курить страсть хочется.

— Да я уже был в лавке.

Действительно, он рано сбегал в мелочную на углу, и в табачную:

— Вставай, вставай, лежебока.

Она посмотрела равнодушно и, не стесняясь его, стала надевать поверх нечистой сорочки вязаную, прорванную на локте кофточку.

— Голова болит, — сказала она. — Ты дашь вина, рюмку.

— Что же, выпей . . . А может быть, лучше чая, сайки свежие, московские, еще теплые.

— Спасибо, сайки я люблю.

Она лениво пошла с ним на кухню, чуть поводя боками. Как и раньше, кофточка была полузастегнута на груди и хвост рыжих волос небрежно сброшен на белую, очень нежную, шею.

На кухне, он прикрыл стол бумагой, но она изодрала ее, задумчиво чертя вилкой. Она много курила. По-

том ходила по кухне, с куском хлеба в руке, жевала рассеянно. Ни перемены, ни благодарности в ней не было.

А в нем все было по иному. Отошло влечение, желание, властная тьма. Теперь он смотрел на нее с ясным вниманием и покоем.

У него и жалости к ней не было, а только пристальное внимание и неловкость из-за женской ее неряшливости, зевков, папирос.

— Ты чего так смотришь? — внезапно сказала она с неприязнью.

Чувство неловкости перед ним было у нее и она хотела скрыть это, под своей развязностью.

— Разве я смотрю?

Он опустил глаза, стал прибирать чашки на столе. Непостижимое человеческое существо в его доме, — уличная женщина, — и странно, что теперь он хорошо видит в ней то, чего не видел раньше: что-то неуловимое, непередаваемо-человеческое, сокровенный, жалостный свет.

Анна присела в его кресло, с папиросой:

— У тебя работа какая, что ли? Озабоченный ты. Хожу, хожу, а ты и не посмотришь . . .

— Ну, вот, только что окрысилась, зачем смотрю, теперь, почему не смотрю. Смешная . . .

— Так ты не так смотришь, не так.

Он помолчал, потом сказал:

— Это верно, не так . . . И вот что еще хочу сказать: когда тебе у меня надоест, скучно станет, ты уходи, я тебя не буду держать, даю честное слово. Спасибо, что пришла. Хорошо, что уйдешь. Понимаешь?

Она неловко, немного детским движением, сползла с кресла, бросила окурок, притушила башмаком, ото-

шла к окну. Тихая, стояла там, освещенная инеем. Она провела по инею кривую робкую черту:

— Понимаю. Чего не понять. Опаскудела вам, вот и все. Не бойтесь, не останусь. Я не как ваши честные, только деньги с мужей тянут. Сама знаю, что вольная. А за ночлег спасибо. Нынче и уйду.

Мусоргский рассмеялся:

— Кто это тебя о честных научил толковать? И никуда ты нынче не уйдешь. Не прикидывайся, пожалуйста. Я вижу, ты до черта усталая, избитая, больная... Куда ты пойдешь, уже сиди лучше тут и помалкивай, покуда не отдышешься. А главное, вовсе неверно, что ты мне, как говоришь, опаскудела. Ты мне лучше, дороже, краше стала, не знаю, как сказать, несравненнее, чем раньше. Если бы я мог все толком тебе объяснить. Что-то случилось со мною, как и когда не знаю. Может быть, тогда случилось, когда я в метели твое пение услышал, или когда один по кабакам таскался, зачем-то тебя искал...

Он стал у окна с нею рядом и его лицо осветилось нежно, голубые глаза померкли. Он провел ногтем черту на инее, рядом с ее.

— Здесь мне ни в одном слове нельзя ошибиться, — сказал он тихо. — И, для того, что я скажу, у меня слов нет. Самому смутно. Но я понял. Я благодарю тебя, что я настоящее понял.

Она покосилась на него с удивлением.

— Вот, ты. И не ты одна, все равно, и другая, другие. Не в числе дело. А хотя бы только одна ты. Как же так, почему творится такое на свете, что человека так топчут, как в точиле, терзают, до того, что человеческого ничего в человеке не остается. Понимаешь. Ведь на землю приходил Сын Божий. И все грехи мира, и проклятие, и смерть, на одного Себя принял. Все,

понимаешь, — тут нечего прикрывать, — все струпья, каросту нашей крови, грязи, язвы, до самого дна, всю мерзость нашу. Все, понимаешь ты или нет? И за то при Понтийском Пилате и страдаша и погребенна и воскресша в третий день, по Писанию...

Она ничего не поняла, посмотрела на него с холодной досадой.

Он грустно рассмеялся.

— Сказано, что после того, как Он был с нами, мы все, понимаешь, все живое освящено, прощено, что мы стали сынами Божьими. От греха освобождены, от проклятья, тьмы плотской, тела.

Мусоргский вдруг побледнел:

— А ты пьяная, ужасная, а ты в трактире на Мещанской, с арфой. И это после Его воскресения. А Мещанская, с банями, с портерными, с чем хочешь, чавкающая в пару, все такая же, как до Голгофы, — гаже еще. Что такое? Так не должно, не может быть. Не можем мы так жить, после Его пришествия... У меня с детства этим душа болит... Я таким пришел на землю. Невыносимо мне, понимаешь. Невыносимо, что люди такие же остались, и еще хуже, после Него. Где преображение мира?.. Постой, трудно это сказать... Ну, так часто повторяют, у каждого есть свой крест. Только я это по иному и вполне понял. Думаем мы о том или нет, знаем или не знаем, но каждый человек, и звери с нами, несут свою Голгофу. Все сострадает Христу, вольно или невольно. Это и есть наша жизнь. В этом сокровенный свет всего бытия. Но одни так и испускают дух на своем кресте, не приходя в сознание Христово, не воскресая, другие же, как тот разбойник, — Господи, помяни мя во Царствии Твоем, — другие преображаются, кто к воскресению хочет пробиться, перебороть похоть смерти, плен тьмы, тела, греха, я не

знаю, как сказать, — все пленения человеческие, все, что Он победил... Те, может быть, и воскресают, как Он...

Мусоргский не заметил, как она отошла от окна, как села, уперши подбородок на сжатые сухие кулачки и все смотрела на него, с пытливой неприязнью.

— Чего я тебе только ни наговорил, — обернулся к ней Мусоргский. — У тебя, я думаю, в голове кавардак поднялся.

— Вроде. Только не у меня, а у вас в голове кавардак, — сказала она дерзко. — Какой-то вы сумасшедший, право, стали. Из желтого дому.

— Я больше не буду... — он сел, улыбаясь, рядом.

Аня не поняла, что он говорил, да и не слушала толком, но с подозрительным беспокойством решила, что белокурый барич выдумал какой-то подвох, что-то новое, и обязательно против нее, чтобы поймать ее на чем-то или в чем-то перехитрить.

Она с охотой ушла бы от него, но была простужена, с избитым телом, ей противно было думать о гостях, трактирах, или что надо петь, а денег не было ни копейки. Он же не бранил, не гнал ее, оставлял спать одну. Он не обращал на нее внимания, и это ее успокаивало. Тогда она стала думать, как провести его, а провести для нее значило раздобыть от офицерика денег на папиросы и на вино. Смутно, с досадой, она чувствовала, что жестокой власти ее тела уже нет над ним, а просить у него денег, как нищенка, стыдилась.

Утром Мусоргский застал ее, на полу, у печки. Она выбирала из жестяного ящика окурки, уже почерневшие, ссыпала табак на папиросную бумажку, чтобы свернуть папиросу.

Она очень застыдилась, что он поймал ее за таким занятием, но посмотрела дерзко и обиженно.

— Курить хочу, а денег на табак нет, вот и собираю.

— Что же ты мне не сказала, я же не курю, не подумал.

— Чего тебе говорить? Ты скупой, я знаю.

— Вот чудачка, ей Богу, вбила себе в голову.

В тот же день он принес ей две больших коробки табаку Бостанжогло, очень дорогого, и Анна, забравшись на диван, курила с наивным наслаждением.

— А где твоя арфа? — спросил Мусоргский, роясь в бумагах на столе.

Она отмахнула от лица дым, усмехнулась:

— Было о чем вспоминать. Давно заложена, перезаложена.

— Пропала, значит, арфа. Так . . .

Мусоргский ероша белокурые волосы, вскоре забыл за работой о ней и о том, где он.

Анна бесшумно стала ходить по кабинету. Она приглядывалась к нему. Потом подошла, оперлась худой и нежной рукой о стол у самого его лица.

— А я знаю, — сказала она. — Ты за мной по всем питерским трактирам ездил.

Он не сразу услышал сквозь светлый шум, звуки и пение, какие двигались в нем. Ее голос как бы прорезал, сдунул в нем ход светлых облаков. Он посмотрел на нее отсутствующими глазами:

— Ты что?

— Зачем, говорю, за мной по трактирам гонял? Искал меня. Я знаю.

Мусоргский за руку усадил ее на поручень кресла.

— Охотно могу объяснить . . . Намедни, когда ты меня сумасшедшим назвала, из желтого дома, я ведь тоже объяснить хотел. Помнишь, я тебе говорил, что ты песню пела, мелодию, прекраснее я не слышал . . . Так вот, я понял, что не в мелодии дело, а в тебе самой. Ты

сама и есть мелодия. Понимаешь, ты дала мне услышать то, о чем я раньше только догадывался, по чему томился, то, для чего предназначена моя жизнь ... Это все я понял, когда искал тебя по кабакам ночь за ночью ...

Он слабо, с благодарностью, тронул ее руку. Анна странно посмотрела на него и, облизывая тонкую бумажку кончиком языка, стала свертывать папиросу.

— Чего ты все проповедуешь, проповедуешь ... Какой поп нашелся. Скука, право. И не понять ничего.

От досады ее руки дрожали.

— Я знала одного такого, тоже проповедывал ...

Она стала ходить по кабинету, рука в бок, сильно затягиваясь папиросой.

— Лохматый, в очках, учителька, что ли. Против царя говорил и как народ страдает, а сам все норовил мне колени ... колени ... Все вы такие.

С тягостной тревогой, Анна ходила быстрее. Что-то самое сокровенное задел в ней офицеришка и теперь, в отместку, она желала смять, завалить, погасить то, что он наговорил. Он так обидел в ней что-то своими проповедями, что она вспомнила все обиды, какие были, и со злобой хотела их выместить на нем.

— Вы, русские, все такие, — презрительно вырвалось у нее.

— Русские, а ты разве не русская?

— Не русская, не русская! — злобно крикнула Анна, даже зубы блеснули:

— Я не ваша, нездешняя, я англичанка.

Он усмехнулся.

— Ей Богу англичанка. И в пачпорте так прописано: Анна Манфред.

Она добралась до того, чем могла затоптать его тревожные слова. Вероятно и раньше, может быть нетрез-

вая, чтобы разжалобить или поразить гостя, она рассказывала, уткнувши руку в худой бок, почему именно она англичанка, Анна Манфред. Она точно хвасталась, щеголяя своей несчастной судьбой, горем, падением.

Ее бессвязный рассказ, иногда злобный и отвратительный, иногда убого сентиментальный, был, впрочем, похож на правду.

Мать англичанка, гувернантка в знатной петербургской семье, она, конечно, плод незаконной любви. Ее сбыли с рук, отдали на воспитание одному сенатскому писцу, под чужим именем. А тот, чтобы досадить англичанке за ее скупость или так просто, по хамству, записал девочку в участке под настоящим именем, Анна Манфред.

Сенатский писец, тварь, с виду благообразный, тихий, все делал тайком. Тайком пил, тайком подчищал бумаги и документы, тайком щипался, гадина. Ему знатные дуры-барыни помогали, а он, тайком, самые дорогие вина пил, курил дорогие сигареты, и все в церковь ходил, в церковь под благословение. У него еще мальчик жил. Тоже продан ему. Сережа, горбатенький. С ним, с горбатеньким, она сидела на окне подвала и смотрела на ноги прохожих. Сережа все лепетал (очень хороший был мальчик) о луне, звездах, что там в санках мальчики и девочки ездят, такие же, как они, и смеялся. Чиновник учил горбатенького воровать, а ее играть на арфе, и щипался, если не понимала. Потом он пришел, сказал: «подохла твоя англичанка» и начал посылать ее по трактирам: горбун с клеткой, она с арфой, будто сироты. Горбун выпрашивал гривенники и таскал у пьяных платки и кошельки, рука слабенькая, грязная. Ей было одиннадцать всего, когда чиновник, пьяный от сладкого вина, облизывая губы, застал ее в

темном коридоре, за скользкими корытами, где висело мокрое белье. Он там замучил ее. А она еще играла в куклы, у нее была тряпичная кукла, без глаз. И на другой день, как тот ее замучил, она, в засохшей крови, потянулась к кукле, и вдруг точно погасли для нее и небо и земля. Потом горбуна отвезли в госпиталь, скарлатина, а чиновник стал гонять ее к баням и в темные переулки, отдал прохожим. Так началась ее жизнь . . .

Смертельно бледная с зажмуренными глазами, она обернулась к нему, рассмеялась презрительно.

— А ты говоришь, Бог. Да ты кому говоришь, ты знаешь, кто я такая. Я огонь, воды, медные трубы прошла. Что со мной только люди сделали, как меня изломали. Затоптана я. Как один капитан, тоже военный, из благородных, у самого дети, как он, сволочь, меня мучил, а сам деточкой называл, деточкой . . .

Ее голос высоко и жалобно обломился. Она зарыдала мгновенно, вспомнила какого-то Васю Костылева, канцеляриста, умер от чахотки в Обуховской:

— Он один меня жалел, один на свете, Вася . . .

Начала она с хвастовства собою, с издевательства над этим святошей-офицериком, с привычной истории о горбуне и чиновнике, но будто рванулось в ней что-то, стало разрывать, терзать, и она, исступленная, точно мучительно рожая или выкидывая, закричала с болью:

— Бог, Бог, будешь ты мне о Боге врать!

Анна с силой вцепилась ему в плечи, затрясла.

— Да, Бог! — закричал и Мусоргский, в исступлении, он дрожал. — Не знаю, где, но знаю, Бог. Отчаяние, если Его нет. Тогда ни к чему жизнь. Без Него не может быть ничего, тогда правда, любовь, красота, добро, все мертвые слова . . . И пойми ты меня . . . Если ты жила так, как жила, а мир не содрогнулся, пойми, ес-

ли таким же остался мир после Его воскресения, и ни я, ни ты, ничего не можем переменить, тогда все равно, так жить я не могу, не хочу... Я не хочу подчиняться проклятой тьме, когда она осталась и после Него. Пусть я один, но не подчинюсь... Господи, просвети меня... Изнемогаю... Я всегда изнемогал от чувства несправедливости, мерзости на свете, от зла, греха... Перед всеми, кто хуже, кто дурнее, несчастнее, я всегда чувствовал нестерпимую вину, отчаяние... Но я чувствовал также, что Он есть, что Он во всех, всюду. Я всегда видел Его свет, вот и в твоих глазах Он... Господи, дай мне принять все раны Твои, все страдания, сожги меня, только чтобы не погас для меня Твой свет... Ты, Анна, помогла мне понять. Ты сама не знаешь, кто ты для меня...

— Кто я, кто? — сказала Анна с горькой тоской. — Не пойму тебя...

И медленно отняла с его плеч руки. Она легла на диван, тихая. Он сел рядом.

Тогда они оба услышали над собою шаги верхнего жильца. Она устала от всех обид, какие вспомнила и ей стало жалко себя.

— Спасибо, что не трогаешь меня, — сказала она.

— Ну, что ты.

— Мне у тебя покойно, спасибо.

— Вот и хорошо, отдыхай.

Они оба шептали так, точно их слушал кто-то третий, сверху.

— И почему я с тобой такая дурная, скажи ты мне... Верь, не верь, я никогда не была воровкой. А тебя обокрала. Я тебе все на зло хотела сделать... А только я помнила о тебе. Верь, не верь, все время как ушла, тебя помнила.

— Верю.

Она помолчала, потом прошептала застенчиво:

— А я знаю, ты плакал на лестнице, когда я вернулась.

— Плакал, — признался он.

Она легко рассмеялась, довольная, как девочка, и с нежностью потрепала ему волосы:

— Чудак ты, ваше благородие...

Он лег рядом с нею, закинул руки под голову, глядя в темноту. «Утешения люди ищут, вот что, — думал он. — Я ей говорил о Нем. А сам ничего о Нем не знаю. И все люди впотьмах и в отчаянии. Как у Иова. Истребляются скорее моли. Между утром и вечером распадаются. Как искры отлетают во тьму. Вот и ищем все утешения, зная, что исчезнем неминуемо. Отлетим, как искры. Во тьму».

— Ты Царю Небесный Утешителю знаешь? — прошептал он внезапно.

— Нет.

Анна пошевелилась и тихо, чтобы не потревожить, положила его голову удобней, к себе на худое плечо.

СЕРАФИМ

— Ну, давай заверну тебя, как следует, в твой знаменитый оренбургский платок, напяливай прославленную шляпку, и айда бакхалым . . .

— Бакхалым?

— По-турецки — скорее. Поедем в Гостиный. У тебя даже рубашек сносных нет, такая, извини, рвань . . .

Анна в последние дни дичилась его, но в Гостиный двор собралась охотно.

Там ее вдруг охватил бес скопидомничества. Она никак не хотела заходить в большие купеческие лавки, освещенные газом, точно стеснялась показаться с ним на люди, на яркий свет, и больше всего страшило ее, чтобы он не потратил лишнюю копейку.

А в темноватых и тесных лавчонках дамских нарядов, белья, гаруса, мишуры, куда она привела его на верхние галереи Гостиного двора, на какие-то Перинные и Пуховые линии, она торговалась с приказчиками за каждый гривенник.

Мусоргского ее скаредность смешила.

В лавчонках ему нравился запах сукна, драпа и скромный уют. Под медной лампой, у тусклого зеркала, в закутке, за коленкоровой занавеской, Мусоргский помогал пожилому приказчику, вежливому, слегка про-

студженому человеку, с насморком, измерять Анну сантиметром, с головы до ног, грудь и бедра.

Он купил ей темный жакет с пуфами, меховую темную шапочку, муфту, полдюжины сорочек из мадепалама (он впервые услышал такое название) и черные длинные чулки, будто парижского шелка.

В жакетке с пуфами и в меховой шапочке, Анна, с ее бледным и остроносым лицом, стала похожа на скромную молодую вдову. Она еще выбрала вуальку с бархатными мушками. Вуалька, до половины оттенявшая лицо, чудно как-то шла к ней. С покупками он привез красного вина, мятных пряников, фисташек, закусок из гастрономической лавки и папирос для Анны. Оба были довольны, оба свежо раскраснелись от мороза.

Дома Анна долго не желала снимать новый жакет, так ей нравился. Она изящно и гибко поворачивалась, чтобы заглянуть на себя со спины в круглое старое зеркало, перед которым Мусоргский по утрам брился.

Мусоргский бесшумно ходил по комнате в татарских сапожках.

Он попробовал закурить, закашлялся, на ходу отпивал по глотку из стакана и много говорил. Он чувствовал благодарное удовольствие, что Анне так нравились его бедные подарки. Ему было весело, весь свет казался теплым, веселым, милым, как стакан красного вина.

— Ты должна понять, я хочу, чтобы ты поняла, — говорил он. — Понимаешь, мир, небо, земля, все звучит таинственными, прекрасными голосами. Боже мой, как прекрасно звучит... Понимаешь, каждый звук, каждая нота, что-то значит. Если бы я мог передать понятно, на человеческом языке, о чем именно поют в согласии наши души, тогда открылось бы таинство са-

мой жизни: Небо открылось бы людям, и мы могли бы понять и говорить с Богом. Это музыка, понимаешь...

— Я одно понимаю, ты веселый сегодня, — обернулась она от зеркала и снова, наивно любуясь собою, стала прикалывать сзади шапочки вуальку. Он подошел к ней, порывисто повернул за плечи и поцеловал в лоб. Аня неожиданно покраснела, как девочка.

Ему надо было ехать в батальон на вечернее дежурство. Она подала ему шинель в прихожей, помогла завязать шарф.

— Ты смотри, скорей приезжай. А не то заскучаю, сбегу...

И как-то застенчиво, немного по козьи, как не делала никогда раньше, пободала его головой в грудь.

После их поездки в Гостиный двор, Анна, одна, громко пела, свистела. Теперь она охотно убирала комнаты (ей теперь нравилось, чтобы было чисто), стирала на кухне, в бадье, свои сорочки, его рубахи и носки. Ей все это нравилось, как не очень трудная и приятная домашняя игра.

Однажды, в полдень, когда она была одна, кто-то легко позвонил у дверей. Анна отерла о передник руки, покрасневшие от стирки, мыльная пена осталась на локтях, пошла отворять. Она думала — почтальон.

Перед ней стояла молодая девушка, из богатых, в коричневом бархатном салопчике, с горностаевой муфтой. Мгновение они изумленно, молча смотрели друг на друга.

Лиза Орфанти, накануне отъезда в Италию, решила еще раз пойти к Мусоргскому. Она понимала, что не надо так делать, но не совладела с собой, поддалась щемящей тонкой боли, пошла проститься перед долгим путешествием.

«Чудная какая девушка», подумала Анна с тревогой и стеснением, утирая пальцы о юбку и отвязывая сзади тесемку передника.

— Вы к Модесту Петровичу? — смущенно сказала она.

Лиза узнала молодую рыжеволосую женщину, побледнела и, чувствуя, что бледнеет, мановением руки накинула на лицо вуаль. Своей чистотой, целомудренным чутьем, по счастливому и наивному свету глаз этой женщины, Лиза поняла все и от всего мгновенно отреклась.

— Я . . . Нет . . . Здесь живет господин Петров?

Лгать Лизе было мучительно.

Анна поняла, что девушка лжет, что пришла она к Мусоргскому.

— Петров? Нет тут Петрова.

— Тогда извините меня . . .

Лиза быстро стала спускаться по лестнице, не оглядываясь, и самое мучительное, — стыдное, — было в том, что рыжеволосая женщина, перегибаясь через перила, смотрит ей вслед.

Анна бросила ком мокрого белья, не вытерла на полу пролитой воды. В полуотвязанном переднике, она начала ходить по комнатам. Так и застал ее Мусоргский.

— У тебя была невеста, — сказала она, еще в прихожей.

— Какая невеста?

— Твоя . . . Какая хорошая девушка.

— Нос немного с горбинкой, темные волосы? — догадался Мусоргский и сердце упало.

— Как ее звать?

— Лиза.

— Как же ты мог, как тебе не стыдно было, с такой, как я, спутаться... Зачем вы это сделали, Модест Петрович?

Она и теперь была с ним то на «ты», то на «вы»:

— Стыдно вам, когда могли такую девушку, как она, обидеть... И с кем? С тварью эдакой, как я... Ну, я уйду, а как же вам-то теперь сказать ей, что скажете... Ведь она все поняла, она как же простит вас?..

— Постой... Верно, я думал, что Лиза моя невеста... Но, как тебе сказать: Лиза не из моей жизни. У каждого есть своя жизнь, свое странствие. Не Лизе идти в моем странствии... Да, постой... Ну, что ты плачешь?.. Ты ничего не тронула, ничего не разрушила... С Лизой Орфанти я сам все разрушил... Я чувствовал, не шевелится моя мертвая любовь... Ты, Анна, моя жизнь, какая есть, мне все равно, но ты настоящая моя жизнь... Ничего не бойся... Не мучайся, не стыдись... Забудь, какая была... Это не ты была... Поверь, все хорошо будет. Ты только посмотри, как я теперь работаю. Верь, знай, у тебя все переменится со мной. Я тебя никому не отдам. Я стану большим музыкантом. Потому что у меня с тобой никакой неправды нет. Может быть, с тобой я самым великим музыкантом стану, какой только был на земле. Я открою в музыке то, что слышу кругом, что услышал в тебе. Таинственный язык жизни, смерти, голоса неба и земли. И тогда всем станет понятно, что такое жизнь, смерть, Бог. Тогда переменятся люди, земля. Все.

Он откинул назад белокурые волосы. Его лицо светилось восторгом. Анна слушала растерянно. Теперь она понимала его.

— Ничего не бойся... Верь, жизнь станет и для тебя чистым таинством. Подумай, ведь нам обоим едва

ли сорок, ты все забудешь, что с тобой было. Все... Ты станешь моей женой, понимаешь, по настоящему.

Прелестная улыбка осветила некрасивое лицо Мусоргского. Учтиво, немного по театральному, он поклонился ей и сказал весело:

— Нездешняя английская госпожа Анна Манфред, прошу вас оказать честь стать моей женой.

Она поняла, что он не шутит, заметалась, растерянная, кинулась от него прочь. Она спряталась в угол, за пианино. С зажмуренными глазами, сваливая пыльные кипы газет, нот, спасаясь, как загнанная дикая кошка, она забивалась в угол все глубже, в темень, в пыль, не зная куда.

Мусоргский пробрался к ней, с грохотом обрушил пыльную рухлядь, и они сидели оба среди внезапных развалин, на полу, как дети.

— Дурочка, дурочка, как забилась, — с радостным страхом смеялся Мусоргский. Анна спрятала ему голову на плечо, вдруг судорожно, горячо зарыдала: он поддерживал ее худое тело, чувствуя позвонки под рукой.

— Плачь, ничего, я сам плачу... Мы навсегда друзья на этом свете, даю тебе мое честное слово.

И рукавом вишневой косоворотки утирал ей лицо.

— Пылища какая, фу, пропасть, вся в разводах, прямо негр...

Еще плача, разгоряченная, ослабевшая, она рассмеялась. Чтобы еще больше рассмешить ее, он надел на голову пехотный кивер, проломленное кожаное ведро с Бородинского поля, когда-то приглянувшееся на толкучке, от пыли чихнул, уронил со звоном железный палаш, Екатерининскую саблю, тоже с толкучки.

— Вот возьму и зарублю тебя саблей! — плача и смеясь, кричала Анна.

Внезапно она сунула обе ноги в его пыльный офицерский сапог, валявшийся тут же, лихорадочно опоясалась драгунской саблей и, гремя и путаясь, смешно запрыгала из угла в одном сапоге, как птица со связанными крыльями.

Она кричала с сияющими глазами счастливо:

— Здравия желаю, ваше благородие!

И стучала о пол то палашом, то черешневой трубкой. Он вдруг решил, что это цирк, а он клоун. В дурацком колпаке из газетной бумаги, с нестройной гитарой, он прыгал за нею, диким голосом пел, нелепо, по-итальянски:

— О, мама миа, миа, кара...

Потом они устали и оба мылись на кухне под краном. Анна совершенно заигралась, визжала от холодной воды.

Когда она, как дикая кошка, забилась в ужасе в угол и потом, тоже, как кошка, разыгралась, в ней проснулось со всей чистотой то, что должно было быть затоптано в ней бесследно. Точно свернулось время, как свиток, или еще не было ее жизни, и вот она начинается снова, как в ее детской игре с тряпичной безглазой куклой.

Анна все забыла, всему поверила и отдалась чистому свету, вдруг осенившему ее изнутри. Точно с чистой игрою пробудились в ней все чистые матери, бывшие в ней до нее, и сама Пречистая Матерь-Дева.

Ночью шел дождь, но они решили выйти на прогулку.

Было начало марта. В Петербурге после оттепели уже настала, казалось, необыкновенно ранняя весна. Снег сошел с мостовых.

Небо над Невой было сырое, светло-зеленое. Это было обманчивое время. Нева еще не тронулась, стыла в громаде льда, окутанная туманом.

Они пошли под тонким дождем на Аптекарский остров. Там уже пахло землей. На дорожках, по весеннему скользила глина. Он накрыл Анну шинелью. Дождь утих и они сидели на скамье, над Невою, смотрели, как занимается заря.

На мокрой скамье были от зари румяные, влажные отблески. Так, накрывши шинелью, он вел ее и домой. Зеленоватая тишина рассвета звучала огромно и ясно.

Дома она стала готовить чай, а он как был, в серой шинели, сел за стол. На Аптекарском острове, когда занималась заря, он услышал всю сцену коронования для своей симфонии в образах, о душе царя Бориса, какую напишет теперь без сомнения. Он понял движение всей сцены с фригийскими ладами хоров.

Анна принесла горячий чай, села перед ним на стол:

— Правда, Модест Петрович, я могу служить тебе хорошо?

Она точно стыдилась называть его на «ты» и если так говорила, всегда добавляла с каким-то детским уважением его имя и отчество.

— Я буду за тобой заместо прислуги ходить.

— Хорошо, ходи, только теперь пойди спать. Мне очень хорошо работается.

Она послушно отошла, что-то скромное и послушное, слегка недоумевающее, было теперь в ней. Она кажется всерьез решила стать его горничной.

С радостной охотой она отдалась домашним чувствам. Оказалось, она любит штопать. Все его пуговицы были крепко пришиты, все носки пересмотрены и рубахи заплатаны. Проснулась ли, правда, в ней капля крови щепетильных англичанок, но она стала до

строгости следить за чистотой. Из-за опрятности она была требовательна неумолимо: бумажки теперь нельзя было бросить на пол.

С утра выколачивала она коврик, пледы, потом бегала в лавки, стряпала, легко напевая. Мусоргский очень любил ее в такие минуты, и боялся спугнуть в ней что-то.

Раз он застал ее в прихожей. Дочь прачки, девочка лет шести, принесла снизу корзину с бельем. Анна посадила девочку на колени, и слушала, как та, совершенно серьезно и строго, слегка поблескивая карими глазами, рассказывала сказку о колобке:

— Колобок, колобок, покатись колобок, — говорила девочка, вполне веря тому, что рассказывает, и от желания рассказать как можно точнее шевелила пальчиками озябших рук и покачивала ножкой.

Мусоргский заметил, что башмаки у девочки грубые, такие же, как у Анны, только крошечные, сиротские.

— Но ты послушай, Модя, как она чудно говорит, — улыбнулась Анна, прижимая девочку к себе.

Мусоргский тоже послушал старательный рассказ о колобке.

Потом, когда маленькая прачка ушла, Анна, отвернувшись к окну, заплакала тихо, стыдливо.

Мусоргский не утешал ее. Он страшился спугнуть, рассеять застенчивый свет, наполнивший ее. Он стал говорить о своей работе, как удачно идут Кромы. Он рассказал, что такое Кромы и кто царь Борис, и кто несчастный царевич Феодор с царевной Ксенией и Самозванец, и убиенный отрок, царевич Дмитрий. Она перестала плакать, слушала его внимательно.

В дни такого осторожного пробуждения Анны Манфред, на дверях квартиры Мусоргского всегда была

приколота записка: «Дома нет». Листок уже начал желтеть.

Военный лекарь Бородин, с озябшими синими глазами, как-то поднялся наверх к Мусоргскому. Он хотел рассказать ему, что задумал целую музыкальную поэму, тоже в образах, столкновение сжигающей Азии и кроткой Руси, что-то о князе Игоре. Бородин прочел на дверях записку, постоял, потирая маленькие руки, и, посвистывая, стал спускаться по темной лестнице. Ушел.

После домашней суеты, Анна сидела обычно на соломенном стуле в прихожей (у нее был такой теплый угол, около печки), как бы дремала с открытыми глазами, скрестивши руки, вернее, охвативши пальцами худые острые локти, и слегка покачиваясь. Ее тонкое лицо становилось тогда, как у сомнамбулы, следящей за сокровенным видением. Строгая сухость проступала на ее лице, а глаза светились печально.

Это случилось в конце марта, когда снова стали морозы, с пронзительным ветром.

Мусоргский решил сделать Анне сюрприз, поехать к венскому башмачнику Вейссу, на Невский, выбрать для нее самые лучшие башмаки. Он уже приглядел одни, на каблучках, на двенадцати пуговках, верхи, по новой венской моде, вырезаны продолговатыми сердцами.

— Ты уходишь? — очнулась Анна от задумчивости.

— Я тебе хочу принести кое-что.

— Слушай, а ты все думаешь, я стану твоей женой?

— Да, почему ты об этом?

— Потому... Потому... Никогда я не стану твоей женой.

Ее волосы были слегка растрепаны, глаза светились магнетически. Когда Анна задумывалась, она точно

старела, как у больной, желтело худое лицо и было видно, что ее лоб в тончайших морщинках, точно не годы, а века провели, запутали на нем неисчислимые нити.

— И зачем ты все это мне говорил?

Ему стало тревожно, не от ее слов, а от того, как она внезапно стареет, когда задумывается, будто ее гложет глубокое, потаенное горе.

— Ладно, там посмотрим, будешь или не будешь. После поговорим . . . А теперь пойдем.

— Куда?

— Ну, так, на Невский. Кажется, сегодня праздник.

— Никуда я не пойду. Поди один, пожалуйста.

— Как хочешь . . . Хочешь, халвы принесу твоей любимой, с фисташками.

— Принеси . . .

— И еще что-то, ладно?

Анна не отозвалась. Скромно подобравшись на соломенном стуле, она точно заметила нечто сокровенное перед собой, стала смотреть пристально. Мусоргский ушел.

Часа через два он был дома. Коробку венского сапожника в голубоватой бумаге, холодно пахнущую кожей, он прятал под шинелью.

Анна не вышла в прихожую. Его удивил запах вина сквозь табачный дым, чего не бывало уже давно. Коробку с новыми башмаками он сунул под кухонный стол и прошел в комнаты.

Пронзающий мартовский ветер разогнал над Петербургом снеговые облака и когда Мусоргский вернулся, засветились сквозь теснины туч куски ледяного синего неба.

Анна в неряшливо выбившейся кофточке, с папиросой, ходила по его кабинету. Ему хорошо были из-

вестны такие неряшливые блуждания. Анна была нетрезва. На столе бутылки пива, вино, разбросаны окурки.

За тот час, покуда его не было, она точно решила его поразить превращением в прежнюю трактирную певицу.

— Что случилось, Анна? — с болью сказал он, подходя.

— Со мной ничего. Какая была, такая и есть... А вот с вами что? Бросили бы барскую затею со мной, чего обманывать.

— В чем я тебя обманул?

— Какая я вам жена, что врали?.. Все врали... Я потаскуха улишная. Вот кто. Была и буду потаскухой. Вот. Чего с меня взять хотите, представляетесь, не видите, что ли, с кем спутались?

Он взял ее за руки:

— Перестань.

— Не троньте меня, не троньте! — закричала она жалобно. — Будет вам, за игрушку меня взяли, жену вашу разыгрывать, невесту без места.

— Да, Аня. Ты моя невеста.

— Молчи! — она оттолкнула его, зубы прискалились. — Молчи, какая я невеста...

С тонким, жалобным криком она рванула на висках волосы.

— Я кошка, кошка...

— Да постой ты, перестань...

Он успокаивал ее самыми простыми словами, кроткими человеческими полузвуками, какими успокаивают детей отцы или матери, сами испуганные.

— Мне самой, мне самой себя страшно, — пробормотала Анна, припадая к нему всем худым телом, и

вдруг ее глаза блеснули желтоватым необыкновенным огнем, от ужаса она по детски зажала рот рукой.

Она что-то увидела за его головой, потрясшее ее мгновенно, вцепилась ему в плечи.

Он медленно стал оглядываться.

Высоко в углу, за собой, он увидел огромную раскольничью икону, давно забытую, перед которой молился иногда, ночью, торопливо.

Солнце осветило образ и Мусоргский впервые увидел на нем высокого ангела, с копьем, в каленом красном плаще, в синих латах, в плетеных красных сандалиях, с осыпанной олифой. Ангельский лик был освещен сильно, желто, и Мусоргский узнал этот узкий лик с громадными, близко поставленными очами, узнал эти красноватые короткие волосы, откинутые назад под ударом незримой бури. Страшное сходство с Анной заставило его содрогнуться.

— Господи, что такое.

Анна царапала, хватала его за плечи, рукава:

— У-у, ангел Божий, у-у, просветлел . . .

— Ты сходишь с ума, — пришел, наконец, в себя Мусоргский. — Это солнце осветило Серафима.

— Серафим, — забормотала Анна, изнемогая. — Серафим . . .

Он понес ее на руках к дивану, Ее лицо побелело. Она была в обмороке. Он прыскал на нее водой, расстегивая кофточку, ее омоченная шея была совершенно детской, жалкая, нежная.

Лицо заострилось в торжественной неземной чистоте. Он с тайным страхом снова заметил сходство ее с Серафимом.

Анна пришла в себя, тихо приподнялась на локте, оправила кофточку на груди и в том, как она худыми

пальцами поправляет кофточку и как красноватые волосы сбились прядями, была невыносимая усталость:

— Испугала тебя?

— Вот, выпей воды.

Она отпила из стакана, легла снова:

— Ослабела я... Ты мне ноги... Ноги, пожалуйста, прикрой... Ледяные совсем... Вот так... Спасибо тебе... Ты хороший... Я знаю, ты очень хороший, Модя. Только зачем ты мне такое все говорил, — пустое, — чему никогда не бывать? И зачем надо было тебе тащить меня в свою жизнь? Теперь, как же мне вернуться? Туда-то, как же вернуться, назад?.. Подумай сам.

— Никуда ты не вернешься.

— Я, как спала на этом свете... Снился тошный сон, что я потаскуха, потаскухой и умерла бы. А ты взял, и среди жизни моей меня разбудил. Я проснулась... Душа моя истасканная, несчастная. Душа моя околевшая, издохшая. Разве я живая? Живого местечка во мне нет. Я мертвая, смерть холодная, мертвая.

Она закрыла лицо руками, на них выбились пряди красноватых волос.

— Верь в чудо, Анна... Мы оба слышим небесные голоса... Мы с тобой в другие города уйдем, где никто и не знает, кто мы такие... Я стану на весь мир знаменитым... Мы в Англию уедем... Хорошо, поедем в Англию.

Он говорил, сам не зная что, чтобы утешить ее.

— Какая Англия... И что ты, Модя, как мальчуган... Ты очень хороший... Только сердце у тебя очень мягкое, как воск. Ты слабый. Очень ты слабый человек. Ты не пей вина... Смотри, сгоришь... Это я тебя, подлюга, к вину приучила. Никогда не верь вину, слышишь, сожжет. Тяжело тебе без меня будет...

— Почему без тебя? Ты всегда будешь со мной.

— Да, да, всегда, — она слабо улыбнулась. — Бедный ты, дай я головушку твою приласкаю.

Ледяной рукой она стала гладить ему волосы.

— Я все думала, виноват ты передо мной. Зачем меня от жизни моей пробудил... Нет, ты ни в чем не виноват. Это я сама к тебе пришла. Все тянуло к тебе, звало: «иди, иди». Вот и пришла за моею судьбой. Ты как хорошо говорил про мое пение. Это тебе показалось в непогоду, что так хорошо. А вот, если бы могла спеть, как послышалось тебе, я бы за то всю душу мою отдала.

— Но, Аня...

— Да нет, не спорь. Я знаю... Ты молчи... Носишься из-за меня, покупаешь, заботишься... Думаешь, не знаю, как ты устал со мною. Ну, отдохни. Положи голову вот сюда, на грудь... Ты, как ребенок, Модя. Тебе еще жить, жить надо.

Она стала покачивать его голову. Она попробовала запеть, передохнула слегка, запела полнее, и в том, что пела она, не было слов. Так матери укачивают детей. В тонкой, печальной и светлой мелодии были только бессловесные переливы материнского баюкания.

Мусоргский затаился, чтобы не тревожить ее, утешенный ее отдохновением, успокоением, теплотой.

Потом он с изумлением увидел, что его кабинетец полон нестерпимого желтого блеска. Огромный Серафим, красноватые волосы откинуты назад, смотрит на него, не мигая, чудными, грозными очами и поет. Оказывается, не Анна поет, а Серафим. Серафим смотрел на него и пел с сомкнутыми, железными устами. И это было так необыкновенно и так страшно, что Мусоргский стал биться, и очнулся.

Он очнулся. Образ погас, лик был черен. Все было покойно у него, чисто, бумаги прибраны на столе, еще

светится от солнца лоскут синего бархата, нашитый намедни на его старое кресло Анной. Но не было Анны. Он вышел в прихожую. Там, на соломенном стуле, было сложено ее платье, его последний подарок, из дешевого зеленого бархата, уже посекшегося, ее жакет и темная меховая шапочка, делавшая ее похожей на вдову.

Она ушла в своем оренбургском платке, и он понял, что она не вернется, что ушла навсегда.

И это было так нестерпимо, так больно, что он закричал протяжно, с отчаянием, в бессмысленном страхе:

— Анна . . .

ТОРОПЕЦ

Всего три-четыре недели Мусоргский не был в полку и не виделся со знакомыми и как всегда бывает, первые недели никто и не подумал о нем, не справлялся: может быть, он простудился в петербургскую распогодицу и отсиживается дома, а то съехал куда-нибудь с квартиры.

В полку, в батальоне, на Кирочной, после полкового учения на обширном плацу, от чего все устали и были раздражены друг на друга из-за пыли, ненужного крика, лишней суеты (батальон готовился к майскому параду на Марсовом поле), адъютант сказал за завтраком о рапорте Мусоргского.

Рапорт об оставке на желтоватой грубой бумаге едва ли не из мелочной лавки, был написан не по форме и больше походил на бессвязное письмо, а кусок бумаги в углу заметно прожжен папиросой.

— Вот чудак, — сказал адъютант. — Хотя бы по форме написал. С ним что-то стряслось . . .

Тогда кто-то вспомнил, как Мусоргский терялся в строю. Он чувствовал себя среди гвардейских солдат, точно среди громадных лошадей на конюшне.

Адъютант с рыхлой, немного бабьей грудью, на которой дрожал аксельбант, добрый человек, испортивший себе сердце черными сигарами и тем, что старал-

ся ладить с начальством, рассказал, как батальонный командир уже давно решил необидно сплавить Мусоргского из полка. Было такое место, куда переводили из гвардии не в меру неловких офицеров, — Царская Славянка, — откуда те могли мирно перебраться в глубину пехоты, на вечное штабс-капитанство.

Поручик с блестящими карими глазами, — к нему очень шла красная грудь преображенского мундира, — вспомнил, как Мусоргский садился в собрании за рояль. Вероятно, не было ничего особенного ни в его игре, ни в пении, но поручика трогало сладко, когда Мусоргский, немного сиплым задумчивым баритоном пел варламовский романс «Когда еще я не пил слез из чаши бытия».

— Помните, — сказал поручик, — «Зачем тогда в венке из роз...».

— «К теням не отбыл я», — докончил за него адъютант и, позвеневши аксельбантом, потянулся к соусу. — Он, право, был славный парень, Мусоргский. Только, как бы сказать, тень какая-то, чем-то не наш...

За столом заговорили о майском параде. Измайловцы хвастались показать себя преображенцам, солдат у них гоняют страшно, семеновцы тоже будут щеголять, как всегда. На другом конце стола рассмеялись анекдоту, как у всем известного и всеми нелюбимого кавалерийского генерала, сиятельного, вздорного крикуна, в самый разгар майского парада, нестерпимо, по неотложной нужде, захватило живот. Потом адъютант стал чертить карандашом план, где станет гвардия, где кавалерия, как в этом году пройдут мимо трибун государя. На параде будут иностранные принцессы, кажется датские или прусские. Все слушали адъютанта и уже видели, как идут, ровно гремя копытами, в громадном блеске кирас и лат, драгуны и кирасиры, и, точно охва-

ченная играющей молнией, в раз отдает ногу в церемониальном марше гвардия.

Над офицерским столом был старинный широкий портрет императрицы Екатерины Второй, работы какого-то немца. Екатерина верхом на сером в яблоках коне, в зеленом преображенском мундире и в треуголке с галунами, в мужских лосинах, плотно облегающих полные ноги, как была в день своего шумного восшествия, а за нею, далеко на плацу, косые квадратики марширующих солдат.

Императрица, с улыбающимся румяным лицом в ямочках, не то женщина, не то мужчина, какое-то округлое, слащавое и неверное существо, как будто милостиво слушала шум мужских голосов у своих ног.

Под портретом поблескивала свежим лаком парадная горка старинных петровских ядер, может быть, еще с Полтавской баталии.

О Мусоргском больше не говорили. Только поручик с блестящими глазами пробовал напевать рассеянно:

— Когда еще я не пил слез . . .

Адъютант верно сказал о Мусоргском, что тот был «чем-то не наш». Все, кто весело шумел на офицерском собрании, жили вполне в своем времени. Никто и не думал, что может быть какая-нибудь иная жизнь, чем та, какая движется, светит и блещет вокруг. Их страсти, огорчения, досады, иногда ненависть и злоба, иногда тоска и тяжелое недовольство собой и другими, были немудрствующими чувствами, какие никогда не выходили из общего, неразмышляющего чувства своего времени. И все они, молодые, свежие, полные веры в себя и в жизнь, прекрасную и как бы бесконечную, создавали, вовсе не думая о том, тот общий образ эпохи, какой только от них и останется: они начинали

светлое и трагическое царствование императора Александра II.

А этот Мусоргский, то подчеркнутый щеголь, то в неряшливой шинели, — со слегка скуластым, упорным лицом, со стремительными глазами, мелькнувший среди преображенских офицеров, был в чем-то иной, чем все. Точно он был не из того времени, в каком все жили, и какое общей силой создавали. Потому он и был чужим. Можно сказать, что неловкий офицер, потолкавшийся в полку и потом исчезнувший, жил в себе, отделенный от всех своей музыкой, или был существом из иного мира, где нет времени, где все вечно. И оттуда принес свою музыку . . .

Дня через три полковой писарь принес Мусоргскому казенную книгу расписаться. Писарь долго дергал звонок, звеневший пусто и длительно, потом заглянул в поцарапанную замочную скважину.

В дворницкой, свертывая бумажку с махоркой, дворник сказал писарю равнодушно:

— Было бы сюды раньше зайти. Он съехавши, кто его знает куды. Запер квартеру и съехал. За квартеру заплачено . . .

Мусоргский уехал из Петербурга на другой же день после ухода Анны. Невыносимый страх, что Анна потеряна, не вернется, заставил его куда-то бежать. Искать у кого-то защиты. И в первом порыве совершенно детского отчаяния он поехал к матери в Торопец, под Псков.

Мать, Юлия Ивановна, в кружевных митенках, маленькая, востроносая, с бледно-голубыми глазами, легко красневшими от слез, с бесцветыми, гладко зачесанными волосами, ходила, говорила и садилась так, точно хотела занять как можно меньше места на этом свете, поджаться до того, чтобы вовсе ее не было вид-

но и слышно. Такой она стала, вероятно, от тяжелой жизни с покойным мужем, от нелегкой жизни со странным сыном. К ней очень шло ее скромное имя Юлия Ивановна. Одни называли ее безответным существом, другие — пустым местом. Мать давно привыкла ждать от жизни только внезапных ударов, неприятностей, как она называла. Для нее любой день был ожиданием: какой новый, темный гром грянет над ее головой, все равно, будь то уплата в банк за заложенную и перезаложенную тульскую деревеньку, или как на зиму вставить рамы, удастся ли засолить огурцы, или что намудрит опять в Питере Модя.

Юлия Ивановна не удивилась внезапному приезду сына, поздно вечером, когда тихий дождь в Торопце шумел, как будто на веки вечные.

Юлия Ивановна точно ждала, что он приедет именно такой, смертельно бледный, и будет стоять в прихожей в измокшей шинели. Она только поняла, что случилось что-то, если он приехал.

Маленькая мать казалась еще меньше перед высоким сыном. Она пометалась, собралась плакать:

— Модинька, как нежданно . . .

Мусоргский взял ее крошечную руку в свои большие, мокрые от дождя руки, целовал молча. От горячих, доверчивых губ сына, она почувствовала, что этот человек в ее прихожей с половичками и двумя помятыми креслами красного дерева, — ее сын, ее сыночек, каким был всегда, и заплакала:

— Вспомнил меня . . .

И тут же засуетилась (ее имя Юлия Ивановна очень шло к ней):

— Боже мой, и свечей не зажгла. Вымок как. Да как ты приехал?

Мусоргский стоял, стиснувши зубы. Он снял офицерскую фуражку, всклокоченная голова дымилась заметно. Он понял, что незачем было ехать сюда, нечего сказать матери, и никому на свете, нечего сказать о том, что с ним случилось.

Он узнал эти продавленные кресла, такие же скромные, поджавшиеся, как мать, и старое зеркало, повешенное точно нарочно, так высоко, чтобы в него не заглядывали, где колебались теперь смутно огни двусвечника.

— Я, мама, подал в отставку.

Вот гром и грянул. Юлия Ивановна даже перекрестилась, точно, правда, ударил гром, и ее ночной чепец, легонький, с воланами, подрожал покорно:

— Как же так, Модя, — без упрека, даже с облегчением сказала она, — с чего же вдруг, в отставку?

— Так. Ни к чему мне полк . . .

Он пошел в комнаты. Половицы знакомо заскрипели под его тяжелыми шагами, с покорной жалобой. Мать шла за ним и уже ждала нового удара: «только бы не выгнали, только бы сам ушел из полка».

Она суетилась бесшумно, накрыла стол чистой скатертью, усеяла его какими-то баночками, тарелочками, — всего много и все очень мелкое, как она сама, соленые груздики, огурчики, накрошенный лук, холодные пирожки, варенье на блюдцах, крыжовник и красная смородина, а когда суетилась, половицы поскрипывали так нежно, точно пришептывали: «Юленька, Юленька».

Часы со стальным циферблатом тоже стучали мелко, чем-то похоже на мать. Мусоргский узнал выгравированную английскую надпись, неразборчивую, в кудрявых завитках, с красивой заглавной буквой L. Слегка дрожащия стрелки показывали половину одиннадцатого, и он подумал, что часы, вероятно, остано-

вятся, когда мать умрет. Странно, почему так бывает, что часы останавливаются вместе с жизнью человека. А вот у него остановилась жизнь, но он живет.

— Модинька, что же ты... Шинель-то, голубчик, сыми.

Он так и сидел в сырой шинели, с фуражкой в руке, точно зашел сюда случайно и уже собирался уходить.

— Да, конечно... Вы не хлопочите, мама, я ничего не хочу.

— Как же, с дороги.

Юлия Ивановна снова собралась заплакать, слегка толкнула его в плечо маленькой ручкой:

— А ты, Модя, скажи... Ты играл там? Ты может быть проиграл...

Она еще хотела сказать: «И тебя выгнали?»

Но он догадался с грустной улыбкой:

— Не беспокойтесь, мама. Меня не выгнали из полка. Ничего особенного. Просто я решл по настоящему заняться музыкой.

В Торопец, к матери, он кинулся в первом порыве отчаяния, когда почувствовал, что жизнь после ухода Анны опрокинется, как дорожная тележка, под овраг, и пойдут бессмысленно рвать, биться кони, — он бросился к матери, точно одна она могла остановить, изменить то, что надвинулось неминуемо.

И еще в прихожей понял, что никому не остановить его судьбы. Получилось так, что он приехал к матери просить денег. Надо же как-нибудь жить, если заняться музыкой. Так решила и Юлия Ивановна, что новым ударом грома будут разговоры о деньгах. У нее, правда, нет денег, о прошлый месяц заняла в банке ассигнациями, в тульской деревеньке у его брата хозяйство в расстройстве, нынче платить по закладной, и в Тороп-

це ремонт есть, завалились отцовские аглицкие сараи (тоже выдумывал все, кому в Торопце надобны аглицкие сараи), из полиции приходили, чтобы чинили.

Мусоргский дурно понимал, что такое говорит Юлия Ивановна о сараях и квартальном. Ему было неловко, и как-то жалобно, на себя и на мать, зачем приехал, напугал, попусту заставил ее тревожиться всеми бесчисленными тревогами, точно бросил камень в затаившуюся воду, и вот пошли ходить круги, закачалась тина, ил.

Утром, на другой день, на широкой улице, где стрела ласточек с легким свистом низко носилась над пыльной дорогой, Мусоргскому показалось, что никто здесь не ходит, и не пройдет больше никогда. Крапивник, отблескивая, сумрачно шумел у обширной Торопецкой стены. В расщелинах широких башен из плитняка, сухие травины неслись по ветру, как гривы, с тем же пустынным сумрачным шумом.

Ему всегда казалось, что ни к чему стоят такие провинциальные города у древних кремлей, здесь как-то ненадобна вся жизнь, и лучше бы все опустело, замерло, чтобы слышнее шумел крапивник у груды плитняка и метались бы в тишине одни ласточки или стрижи с их таинственной и скромной суетой, такой же, как у Юлии Ивановны. Люди, и, главное, он сам, зачем-то притащившиеся сюда, вовсе не нужны, должны онеметь, исчезнуть в покорном молчании.

Его питерская история, бедный роман с уличной певицей, сбежавшей от него, только тенета, горечь, гордыня его смертного сердца. О себе самом надо забыть, о смертном сердце своем, чтобы жить. Надо как-то растворить себя в немоте, чтобы ничего не осталось внутри от горечи, от тоски по Анне, чтобы все опустело, замерло навеки внутри, как эта мертвая улица с пыль-

ными колеями, и крапивником, шумящим у серого Тороповецкого плитняка. Покорная немота была здесь в дремучей древности, так будет и после него, после всех, когда все живое умолкнет: пыль, трава, выветрившийся камень, ласточки и то же вечное небо, серо-бледное, скромное, как покорные глаза его матери.

Конечно, преображение, раскрытие мира музыкой и любовью, все было вздором. И незачем раскрывать мир, он понятен: вечный шум кладбищенского ветра. Для такого мира ничего не нужно. Какая там музыка, и какое преображение: не будет его никогда. Надо так же затаиться и ждать, как мать, покуда не растворишься в бледно-серой немоте неба. Нелепым было его ожидание, что он преобразит мир. Все рухнуло. Потому он и сбежал в Торопец.

На постоялом дворе, куда он пришел рассчитаться с подводчиком, он решил остаться у матери, покориться жизни, какая есть, забыть себя, музыку, Анну. Это было не горько и не тяжело.

На чистой половине, полной народа, раскрасневшиеся купцы или помещичьи приказчики кричали жадно. Шли торги на лен. Один смеялся, отвалясь на стул, смахивая мокрыми от пота стрижеными в скобку, волосами. «Вот так и надо жить, не думать ни о чем», поглядел на него Мусоргский и подозвал полового:

— Дай, братец, водки . . .

Ночью, он вернулся к Юлии Ивановне пьяный. На постоялом дворе он поил помещичьих приказчиков, неизвестного дьякона, семинариста из Пскова, купцов, возницу, хозяина, все что-то кричали ему, а он, бледный от водки, точно один трезвый в пьяном вопле, слушал, что кричали ему люди, буйные и жалкие, как смеются, бешено бранятся между собой, как семинарист с гитарой запел что-то очень хорошее, припал к его

плечу и признался, что любит чужую жену, попадью от Онуфрия в Малах, Леночку, а неизвестный дьякон, дыбом черные волосы, хрустел огурцом на зубах и весело уверял, что вовсе он не дьякон, а бес.

Маленькая мать стягивала с сына сапоги с рыжими голенищами, офицерскую шинель в сене, в приставших соломинах. В бесшумных и горьких метаниях матери, в том, как она стягивала неподатливые сапоги с пьяных ног сына, в ее испуганном шепоте «Модинька, Модинька, да что же с тобой», была покорность отчаяния. Вот когда над ее головой грянул настоящий, темный гром: ее сын пьяница, пропащий человек.

А сын утирал рукавом бледное лицо и улыбался упорно. Ослепительным светом, жадно, ярко, горела в нем водка, с упорной силой он повторял:

— Сгорю, пусть... Сгорел Модест Мусоргский, невидаль, наплевать, пусть. Сгорю, а добьюсь... Добьюсь, услышат... Чтобы жизнь переменилась, человек... Мать понимаешь, человек... Сожги меня, Господи, сожги, за Анну Твою...

Вдруг он захотел уехать, сейчас же, в Питер. В одном белье он вырвался от матери на глухую улицу, дико кричал:

— Лошадей, лошадей подавай, в Санкт-Петербург!

И упал в канаву, в крапивник, не почувствовал, как острекавился. Мать помогла ему встать, он покорно пошел с нею в дом. Она была такая маленькая, что он мог поцеловать ее в голову, и в морщинистую, дряблую шею, трясущуюся от страха и горя:

— Мама, вы святая, вы небо, вы небесная мама...

На утро он поднялся очень тихий, пристыженный, долго полоскался за ширмой, фыркал от холодной воды. С одутловатым лицом, мокрые волосы расчесаны тщательно, он вышел к кофею. Щеткой и метелкой

внимательно чистил сапоги и мундир. За кофеем сказал:

— Я еду сегодня же.

— Как, Модя, куда?

— В Питер, куда же... Извините меня, пожалуйста, что вчера натворил. Я еду...

В его дорожную тележку Юлия Ивановна натаскала кульков и горшечков, повязанных холщевыми чистыми тряпочками, принесла старый ковер, на котором он узнал затертую персианку с лютней, — чтобы сын укрыл ноги. И было Юлие Ивановне все равно, что смотрят соседи, все узнали в квартале, что ее сын Модя бросил гвардейский полк, пропойца, и едет в Питер пропадать в конец. Он молча сидел в тележке, фуражка в руке, шинель горбом, покорно ждал, когда утихнет торопливая суета матери.

Возница, белоголовый парень, управился на мешке, набитом сеном, оглянулся «трогать, аль нет?» Мусоргский надел фуражку, и Юлия Ивановна уткнувшись в шинель сына острым носиком, торопливо засовывала ему в руку смятые ассигнации, все, что приготовила для закладной, на ремонт, на зимние рамы, квартальному.

— Модинька, да как же ты теперь, как ты будешь жить, Модинька...

Он улыбнулся печально, поцеловал мать в лоб и в испуганные, влажные глаза, точно тусклое небо в дожде:

— Ничего, мама. Все это ничего, вы не думайте... Простите меня... Я буду жить, даю вам честное слово.

РАЗЛУКА

В глубине проходного двора, внизу, играла шарманка, черный ящик, выдыхающий безнадежную копеечную тоску. Ее прищемленный стон пробивался сквозь двойные рамы. Все шарманки на свете заведены на грошовую жалобу «Санта Лючия» и «Разлука».

Шарманщик, костлявый старик, пел равнодушным голосом:

Разлука, ты разлука, чужая сторона
Никто нас не разлучит,
Лишь мать сыра земля . . .

И эти глупые слова, и тупой голос дворового нищего, а главное, глупые слезы, какие больно навертывались на глаза, злили Мусоргского.

Анна исчезла, так и должно было кончиться, это самый лучший конец, думал он у окна. Но такие мысли не утешали неумолкаемой внутренней боли. Днем он ждал Анну, так же, как во сне, и его тонкий сон стал какими-то просонками ожидания.

Ожидание Анны было как верхняя проходная вода, бегущая в нем тревожно, а под ней не двигались теперь воды ледяные, непроницаемые, бездонная тьма. В самой глубине он чувствовал, что случилось непоправимое с его жизнью, и Анна не вернется никогда.

То он находил на столе, около своих рукописей, кусок ее бедной ткани, мадеполама, так и не дошитую белую сорочку, с воткнутой иголкой и ниткой, то пустую, пожелтевшую коробку от папирос Асмолова, ее платок. У вешалки в кухне, он нашел перчатку, ту самую, нитяную, прорванную на двух пальцах, какую заметил еще в первый день, в метели, и воздух ее, неуловимо свежий и печальный, с особой силой коснулся его.

По вечерам он сидел в прихожей, на том соломенном стуле, в углу, где любила сидеть Анна. Он рассеянно теребил ее перчатку, выдергивая тонкие шерстинки, с полуулыбкой человека, ушедшего в себя от горя:

— Эх, Аня, как же так, Аня . . .

И вдруг татарский гнев, нещадный гнев его отцов и прадедов, жадно охватывал его, дикий, неудержимый, готовый разгромить все, раздвинуть каменный дом, сгрести этот осклизлый от туманов и дождей город, вышарить из его мглы и поставить перед собой Анну. В негодующем отчаянии, он звал ее, глядя в потемки, сквозь свечу, мигающую в медном шандале:

— Анна . . .

И пугался своего крика. Ему казалось, что начинается сумасшествие. Страшась себя, сумасшествия, потемок, едва светящегося окна на дворе, он торопливо накидывал шинельку, и уходил.

Уже которую ночь возвращался он домой засветло, нетрезвый. На лестницу его вел иногда под руку суровый дворник. Дворник сам шарил ключ в его шинели и отпирал дверь.

Отставного молодого офицера, донашивающего шинельку, знали по всем петербургским второразрядным кабакам. Многие завсегдатаи, спивающиеся актеры, обманутые огнями театра и недождавшиеся лавров, какие-то неведомые миру граверы и художники, косма-

тые, в очках, озлобленные и чахоточные журналисты, мелкие чинуши, просто пропойцы, все те, кто для так называемых приличных людей — отвратительные пьяницы, мерзавцы последнего разбора, стали приглашать офицера к своим столам, чуяли в нем своего, обреченного за одно с ними на кабацкую судьбу.

Мусоргский, молчаливый, застенчивый, с тревожной полуулыбкой, если и пил, то всегда случайно, заслушавшись кого-нибудь из собутыльников, или задумавшись.

В кабаках знали об исчезновении арфянки и желали ему помочь. Об его страданиях не расспрашивали. Трактирные певицы и просто уличные девушки, в шляпках с мокрыми страусовыми перьями, зашедшие обогреться у стойки под медной лампой и пьянеющие от первого глотка вина, иногда глухо бранились между собою, подозревая то одну, то другую, что та скрывает от белокурого офицерика, где Анька.

Мусоргского прозвали Белокуреньким и Щеголком, хотя ни птичьего, ни щегольского в нем не было ничего. Женщины жалели его горячо, они все были на его стороне, против сбежавшей дряни Аньки.

Женщины чуяли, что офицерик любит верно и горячо. Они понимали немую застенчивость его страданий и с нещадной, лютой страстностью, тоже по татарски, готовы были разворошить для него весь мглистый Петербург, его щели, углы, сырость, плесень, чтобы отыскать и поставить перед ним худенькую, рыжеволосую арфянку. Но Анны не было нигде и никто о ней толком не слышал. Она исчезла.

У Пяти Углов, в трактире, лакей с острым щетинистым подбородком, во фрачишке потертом до тусклого глянца, как-то отвел Мусоргского в угол и сказал:

— Намедни была-с. Ей-Богу. Она самая.

Старичек показал в дряблой улыбке нижние желтые зубы, точно старая лошадь.

— Обогреться заходила. Ей-Богу-с. Просила двугривенный под заклад дать, у нас ейная арфа заложена.

— У вас?

— А как же-с, у нас. Еще когда заложила... Так и стоит. Я ей, врать не буду, двугривенного не дал, у самого не было.

— Что же она... Как выглядит, здорова?

— Зачем больна? Здорова. Усталая вроде, малость. Ты где, говорю, поешь? А я, говорит, нигде не пою, но в таких местах скоро петь буду, куда нам всем и вход запрещен. А сама, видно, что шутит.

— И вы не спросили, куда она идет, где живет?

— Да что спрашивать. Разве скажет. А посидела вот тут. Все под платком руки грела. И ушла-с. Тихо, без скандалу...

Мусоргский подошел к шкафу с подносами и фаянсовыми чайниками в розанах, синих цветках. За шкафом, в тесном проходце, в потемках, стояла арфа Анны.

Он узнал потертый ремень, изогнутую волну железных струн. Струны пропылились, как в сером бархате, на горбатый верх накинута черная, тоже пыльная клеенка. И все это похоже на черный гроб.

«Оставила крыло, — почему-то подумал Мусоргский. — Оставила и ушла».

Он вспомнил, что никогда не был у Анны на Подъяческой. «Подъяческая, нумер шестнадцать», несколько часов согревали его надеждой.

Но уже на заднем дворе, со стенами, в потеках плесени, с мутными стеклами, забитыми тряпками, на железном крыльце в подвал прачки, куда указал ему дворник, он понял, что Анны здесь нет. Все же он сошел со ступенек в подвал.

В темноте пахло гнилыми досками, сырым бельем. С веревок свисало влажными привидениями тряпье, перекрученные черные чулки, точно зловещая обувь скелетов. С чулок сочилась вода. За рваными простынями виднелась склонившаяся тень старухи. Около нее, на полу, стояла свеча.

— Здесь живет Анна Манфред? — позвал Мусоргский, откидывая с брезгливостью мокрую, скользкую простыню.

Старуха оглянулась. Седые волоски торчали из носа, рот, изрезанный черными морщинами, был в сером пуху, точно забит паутиной.

— Здесь, — ответила она и разогнулась. Были отвратительны руки старой прачки, красные, в потрескавшейся сероватой коре, с негнущимися пальцами:

— Пожалте . . .

И по тому, как говорит старуха, он понял, что Анны здесь нет.

В чулане, куда он вошел, стояло корыто, перевернутая бадья, натянуты были веревки с темным тряпьем, сочащим воду. Он вдруг вспомнил рассказ Анны о сенатском чиновнике, тряпичной кукле, корыте.

— Андрюшка, смотри к Аньке пришли, — злобно крикнула старуха, отворяя дверь из чулана.

— Пожалте, пожалте . . .

Она точно заманивала его со злорадством в западню или на мучительство, а он шел.

В другом чулане, угол отделяла ситцевая занавеска, висела ветошь на крюке, у русской печи стоял чан. В воздухе и здесь была мгла от намоченного киснущего белья.

У печи, на скамеечке, сидел тощий человек с остриженной головой в проплешинах, с дрожащими, укоро-

ченными руками, в какие он будто хотел захлопать, и не мог.

— Убогий, из больницы вернули, — сказала старуха. — А только все понимает, пожалте, извольте говорить, что вам надоть...

Старуха привела сюда офицера и покричала сына, чтобы самой увереннее заговорить, наконец, о жилице:

— Нет ее у меня, Аньки этой, духа нет, а была бы, так выгнала бы с полицией. Дрянь, шлюха, как вам о стерве такой знать понадобилось. Она мне с прошлого мясопуста, дрянь эдакая, три рубли должна, так и пропала, не отдала, чтоб издохла. Подумайте сами, господин офицер, три рубли затеребенила. Я женщина больная, сын убогой, бейся, как хошь, а она три рубли...

Старуха искренно и злобно заплакала, отдернула ситцевую занавеску:

— Вот ейный угол, пожалте, полюбуйтесь, шлюха, что оставила, насмешки одни, разве три рубли стоят?

Старуха из угла выбросила на табурет узел.

Там был лоскут газового платья с блестками, длинный облезлый мех, ворох цветного тряпья, рваные тонкие чулки, бусы, стеклянные, самые дешевые. Жалкое Анино наследство показалось Мусоргскому ворохом тряпиц, лент и пестрых лоскутьев, какие набирают для наивных игр дети.

Он отдал прачке все серебро из кошелька и долго обтирал о шинель руку, какую успела поцеловать своей мохнатой паутиной дрянная старуха.

После Подьяческой, он работал всю ночь. Он стал работать по ночам, до света. Так был им вчерне написан «Царь Саул» и «Иисус Навин». Чтобы забыться, он читал Библию, особенно пророков, всегда вслух, мерным голосом, точно псалтырь по покойнику. Тогда же он начал «Еврейскую Мелодию» и «Ночь».

Но он чувствовал после работы только раздражающую усталость, и все, им написанное, казалось ему каким-то тесным, затиснутым в простенок, бездыханным. Точно пыльная арфа Анны.

Ночью он часто лежал с открытыми глазами. Он думал, что Анна может придти в любое мгновение, — вот, позвонит, — и его ненужное, невыносимое одиночество кончится мгновенно.

Ночью он слушал все шаги на дворе, и на лестнице, редкий, печальный звон ног о дворовый камень.

Шаги казались иногда четкими, торопящимися, шагами Анны, а иногда все — невнятные, шаркающие, — были чужими.

Тогда, с открытыми глазами, он начинал отсчитывать часы на костяшках пальцев. Если отсчитать 360 раз, проходит пять минут. Он отсчитывал проверяя себя по глухому бою часов у верхнего жильца. Один час проходил с быстротой, зато другой был тяжко недвижим и Мусоргского мучила неумолимая неподвижность времени, постукивающего над ним.

Однажды утром он услышал звонок, такой тихий, такой чем-то родной, подумал «Аня», и дрогнули руки.

Перед ним, в серой шинели и в бескозырке, стоял Анисим, с горячими, запавшими глазами, как у всех, кто долго лежал в лазарете.

— Голубчик, как исхудал, — удивился Мусоргский.

По застенчивой замкнутости лица, Мусоргский понял, что Анисим не слышит ничего.

— Голубчик мой, да ты что же, совсем глухой?

— Так что, разрешите доложить, ваше благородие, — сказал Анисим, точно понял. — Дохторя обои уха мне прокололи, так что вовсе оглох, ничего слыхать не могу.

То, что он ни разу не вспомнил Анисима, не побывал у него в госпитале, и все, что случилось с ним за эти дни, его отчаяние, страдание, прорвались на мгновение в том, как он ухватился за рукав шинели глухого солдата:

— Анисим, да что же такое с нами случилось?

Денщик заметил, что у барина запущено, нетоплено, старая офицерская шинелька поизорвалась, без пуговиц, и, сложивши свой узелок и солдатский мундир на табурет, занялся, как в давние времена, уборкой. Он пришел попрощаться к барину перед дорогой домой.

На прощание он вытопил печь, пришил к шинели Мусоргского две своих солдатских, бывших в узелке, пуговицы, все вымел, вымыл, а Мусоргский ходил за ним и рассказывал путанно, как была здесь Анна и как ушла, и то, что рассказывал, точно отворяло железные двери внутри его, облегчало.

— Вот, ваше благородие, все видно, а, слухать, не слышу, чудно, — сказал Анисим. — Словно по вате хожу. Будто кругом вата наложена, так все молчит. А может, ваше благородие, еще буду слухать?

— Будешь, будешь . . .

Анисим не услышал, но ответил с кроткой улыбкой:

— И я думаю, буду . . .

К вечеру Анисим ушел. На столе в прихожей, подле медного подсвечника, Мусоргский после его ухода увидел серебряный рубль. Солдат пожалел молодого барина, запущенного, побледневшего, без верной руки и оставил ему на прощальную память свой береженый рубль.

В Петербурге уже начались белые ночи, когда так пусто и страшно звенит гранит набережных и серебриста и пуста полумгла над погасшими домами, крепостью, Невой.

Мусоргский, усталый (его томило бездыханное беззвучие беловатой мглы), бродил до утра по трактирам. Он пил мало, больше следил за мельканием измученных, бледных, по пьяному несчастных человеческих лиц.

Он думал, что все, и он, люди без имени, отребие земли, приходят и сходят, как нагромождения теней в мерцающем сумраке; никто и не вспомнит их имен, их лиц, а все хотят для себя какого-то неиссякаемого бытия, вечности. В пьяном шуме, и помутнении вина, томятся все, ищут забвения.

На улице, он долго смотрел, как дремлет извозчичья лошадь, и дрожат во сне ее ноги, искривленные ревматизмом. Он стоял, прислонившись к стене, у водосточной трубы, и следил с невыносимой жалостью, в беззвучно-ползучем сумраке, за тощей черной кошкой, пробирающейся из подвала в подвал. Звери тоже ищут забвения, утешения, но звери счастливее, им дано больше сна: кошки всегда в полудремоте. А вот люди ищут забвения в вине.

«Бог простит, — думал он, — Бог простит всех пьяниц, какие есть на свете».

Под утро он ложился у себя, на диван, как был, в слегка влажной шинели, не снимая сапог.

Чтобы заснуть, он начинал быстро отсчитывать сотни, тысячи. И не засыпал. Он сбивался, считал снова:

— Тысяча пять, тысяча шесть . . .

Потом вместо цифр, начинал повторять, отсчитывать то, что всегда стояло в нем, давило несдвигаемым молчанием:

— Анна, Анна, Анна . . .

Неповоротливое, безысходное бешенство налегало на него, как каменный жернов и он с глухим исступлением начинал проклинать кого-то, себя, всю жизнь,

смерть, вечное отчаяние, разрушение, весь мир, навеки разъятый тьмой противоречий.

Потом ему казалось, что он лежит в шинели на диване не на яву, а в тяжелом полусне, между сном и явью.

Все то же, как и на яву, — беззвучная мгла, его кабинетец, — и все не то. Все изменено, ужасно, громадно. Его письменный стол навеки повис в мутной бездне, и он сам, со своим диваном, навеки заключен в застенок.

Тогда, ища защиты, спасения, он переступал по тюфяку грязными сапогами, прижимался лбом к черному образу Серафима. В столе от давнишней заутрени была красная свеча. Он зажигал свечу, водил по иконе, вглядываясь в Серафима, и дорожка копоти чернела на красном ангельском плаще.

Лика Серафима он не видел, точно лик вынули и на месте его осталась черная пустота. Он понимал, что снится, что он не брал свечи из стола, и нет у него вовсе никакой красной церковной свечи, и хотел отступить от темного лика, бежать, проснуться, и не мог.

Спал и кричал во сне невнятно, мучительно, и от своего крика просыпался.

В одну ночь, когда он так, с холодным влажным лбом, боролся с давящей полуявью, тихий звонок подрожал у дверей. Начинается сумасшествие, длятся испытания невыносимого сна. Это звонок из сна, или из другого, терзающего полубытия, куда он перенесен.

Звонок дрогнул снова. И он понял, что из иного бытия пришла за ним Анна. Нездешняя Анна Манфред стоит за его дверью, вот тронула неживой рукой звонок, и у нее, как у Серафима, нет лица, вынуто, тьма на месте его.

Ему страшно было смотреть на болтающийся в полутьме колокольчик.

Он тихо стал поворачивать в замке ключ, придерживая дверь. А с другой стороны кто-то тихо пошевелил ручку.

— Аня, ты, — шептал он, — Аня . . .

— Отворите, — послышался глухой голос.

На площадке стоял высокий незнакомец. Мгла стерла его руки и ноги, он точно зыбился. Это был носатый, тощий человек, дурно выбритый, с ввалившимися щеками, в темном пальтишке, накинутом на ночную рубаху, застегнутую на шее, где выпячивалось адамово яблоко, медной запонкой.

— Кто вы, что вам надо? — спросил Мусоргский, подумал: «это сон снится, все сон».

— Я так, никто, — прошептал незнакомец. — Извините, что побеспокоил.

— Никто, — повторил Мусоргский.

— Для вас, конечно, никто. Я верхний жилец.

— Верхний жилец.

— Ну да, над вами . . . Извините, мне от вас все слыхать, и когда вы стали так кричать по ночам, я и пришел.

Верхний жилец, существо сверху, невидимое, сопутствующее ему всегда, тот, кто вечно ходит над ним, у кого отсчитывается вечное время.

— Так вот вы какой. Вы, вероятно, в туфлях? — неожиданно и тихо сказал Мусоргский.

— В туфлях, а что?

На тощих ногах (незнакомец был в одном исподнем белье), Мусоргский заметил суконные черные туфли.

— Это все сон, правда, и что у вас туфли, тоже сон?

— Зачем же сон? .. Измучены вы, я и пришел, может, могу чем помочь.

— Спасибо, мне ничего не надо. Так вы верхний жилец?

— Верхний. Что вы, право? — незнакомец слабо улыбнулся, и, прикрывая жилистой рукой шею, легонько, с хрипцой, покашлял.

— Войдите, — сказал Мусоргский.

В прихожей он зажег свечу, от которой стало темнее и понятнее, что еще стоит глубокая ночь.

Мусоргский молча рассматривал человека. Лоб в крутых морщинах, еж стриженый коротко, по лицу, по рукам, по выражению глаз видно, что человек из простонародья.

— Вы, значит, сверху. А кто подо мной?

— Под вами никого. Там на ночь уходят. Там тоже мастерская, беличьи шкурки режут, и красят, известно, дамские наряды.

— Так у вас мастерская?

— Мастерская. Я балетные туфли шью.

Это было так внезапно, так странно, что Мусоргский усмехнулся:

— Балетные туфли. Хорошо придумали ... И вот, я вас вывел, наконец, из терпения и вы пришли ...

— Зачем, из терпения. Ничего. А только, верно, я вашу жизнь, можно сказать, слышал, и потому понимаю: очень вы мучаетесь теперь. Так вы пропадаете. Нельзя. Вам ее забыть надо. У меня тоже жена была, Олимпиада. На ялике через Неву ехала, подул ветер, ялик перевернулся. Двадцатый год всего шел. Забыть надо, вот ...

«Это мои мысли, забвение — утешение, а его нет, это я сам с собою во сне толкую», подумал Мусоргский, сказал:

— Но почему ялик, Олимпиада? Зачем, простите, вы все это рассказываете, зачем пришли ко мне?

— Извините, если помешал, — скромно сказал человек, собираясь встать. — Помочь желал, чем могу...

— Куда же вы, я не гоню... Вы, правда, балетные туфли шьете?

— Правда. Я на всю Россию первый мастер.

— Как странно и любопытно, балетные туфли... Но причем же тут балетные туфли?

— Вы изволили спрашиват о балетных туфлях, я отвечаю. Это верно, извольте и в балете спросить мастера Илью Васильева Селиванова, все скажут: первый. У меня носок особый. Носок в балетной туфле и выгиб, самое главное. У меня свой сплав для носка найден, чтобы танцовщице стоять, пируэт ли, полет, известно, что в их танце полагается. Вы, образованный, лучше знаете.

— Вы говорите, носок?

— Самое главное. Во всем свете только и есть мастеров по балетной туфле: два итальянских, — как их? — Николини и Пардчелли, да двое во французах, думаю, лет сто их мастерская работает, имена Кре и Гальен. А наши меня предпочитают: «твои, Илья Васильев, всех выше». Вот и выходит, я пятый мастер на свете по балетной туфле, а на Россию так первый.

— Вы, выходит, художник?

Неожиданная и странная беседа влекла Мусоргского.

— Зачем художник, я мастер. А мастерство, верно, тонкое. Тут надо косточку живую не упустить, отгадать в башмачке атласном сплав особливый...

Верхний жилец с уважением к своему ремеслу (так простолюдины всегда говорят о ремеслах и знаниях) растолковывал Мусоргскому, чем итальянский балетный башмак лучше французского и чем всех их лучше его, русский.

К утру они стали друзьями и Мусоргский, провожая мастера Илью Васильевича, шутиливо сказал:

— Да вы мне настоящее утешение, посланное свыше, и тема: победа духов света над шабашем духов тьмы...

Но мастер Селиванов, кажется, не понял.

А дня через два Мусоргский, к рассвету, когда уже заперли «Яр», шел с Петербургской стороны Петровским парком. Он был в расстегнутой, потрепанной шинельке, на его тонких башмаках полопалась кожа, он не замечал теперь ни себя, ни своей жизни, потому что вся его жизнь стала ожиданием неминуемой, неотвратимой встречи с Анной.

Предутренний ветер рябил Неву. С деревьев капало, голые ветви скрипели. Тысячи холодных звуков дождя наполняли воздух.

Он шагал, не замечая, по лужам. Утренняя дрожь пронимала его. У Тучкова моста, на откосе, сидел на перевернутой шлюпке речной сторож, жестокоусый старый солдат в кепи и в накинутой шинели, курил носогрейку. Мусоргский рассеянно посмотрел на него сверху, с моста, и прошел на Васильевский.

А за шлюпкой, по которой текли струйки утреннего пара, на мокрой земле, у самой воды, лежала утопленница. Ее и сторожил солдат.

Тело с ночи покачивалось у откоса, водой то относило его, то прибивало снова, покуда тихо не повело на песок.

Это была Анна Манфред. Ее можно было узнать по грубым, жестким башмакам, набухшим от воды.

Она покоилась в страшной и великолепной красоте смерти. Темное платье, полное воды, легло на песок, как складки одежд богини Никеи, волосы от воды потемнели, одна рука, посиневшая, была вытянута вдоль тела, а другая поджата под рваный оренбургский платок, в песке и в тине, завязанный узлом на груди.

ЧЕРНЫЙ ЛУЧ

В январе 1874 года было назначено первое представление Бориса Годунова на Мариинской сцене.

Мусоргский думал, что его инструментальная симфония, драма образов и звуков, как он называл царя Бориса, никогда не будет поставлена полностью.

Его бесили, оскорбляли хлопоты, необходимость унижаться перед театральными чиновниками, журнальными критиками, меценатами, знаменитыми приятелями, самодовольными дураками-певцами, самовлюбленными дурами-актрисами . . .

Но Бориса Годунова поставили.

Ночь перед спектаклем Мусоргский спал очень тихо. Его большие, белые руки спокойно светились на рваном пледе: он оттыхал во сне от суеты последних дней.

Утром, освеженный черным кофе с коньяком, он начал просматривать партитуру, хотя это было не к чему.

Глотками он тянул коньяк. Маслянистый, медленный огонь ожигал его все горячее, светлее.

И музыка стала казаться ему до того удивительно прекрасной, мощной, полной грозы и света, что на глаза наворачивались слезы. Он пьянел.

И внезапно, перелистывая партитуру, вспомнил уличную арфянку Анну. Сердце защемило болью: Бориса он писал позже, но все задумывал с нею. Анна, пятнадцать, двадцать лет назад. Он вспомнил красноватые волосы, как светилась худая рука, и тоненькие ключицы, косое крыло. От Анны ничего не осталось: прах, комья мокрой глины. Ее давно заела земля.

Мусоргский поднялся. Теперь он все делал тяжело, неуклюже. Ему мешала одышка. Одутловатое лицо, с нездоровой желтизной, как будто набрякло от желтоватой воды.

Он начал одеваться к театру: жилет, сюртук. Подкладка жилета на спине истрепалась, висела лохмотьями. Оборванный хлястик пришлось сколоть английской булавкой. Для театра он решил почистить жилет мокрой щеткой.

Большая, с налитыми жилами, рука Мусоргского неверно водила щеткой по стеклянным пуговицам, по темному, когда-то синему, бархату.

В театр он пошел пешком.

Уже померк зимний день с мелькающим снегом. На Петербург легла темная стужа.

Редкие фонари мигали на Невском. Над ними косо носился снег. Мало прохожих. Все неприветливо. Снег мелькает без шума, зловеще, точно летучие белые мыши.

На Невском сердце Мусоргского заныло от страха.

Это был темный страх за царя Бориса. Когда-то он ждал представления Бориса, как светлого чуда, которому суждено обновить, преобразить жизнь, мир. Какое там преображение: вздор. Страшно.

Все беспощадно, страшно, как эта стужа и снег, мелькающий в потемках, точно железные стружки.

В тонких шевровых ботинках, какие он надел для театра, прозябли ноги, посинели ледяные руки. Он не мог разогнуть пальцев. Как все пьяницы, он не выносил холода.

Мусоргский огляделся, чтобы подозвать извозчика.

И тогда над зажженным фонарем увидел черный луч. Сердце заколотилось и замерло.

Черный луч бил над фонарем прямо во тьму, еще более черный, чем мгла январского вечера.

Подкатил Ванька, закиданный снегом. Голова, охваченная морозным туманом, какая-то неживая, курносая, с вывороченными ноздрями.

— Пожалте, барин, подвезем, — осклабился Ванька.

Барин стоял у фонаря в расстегнутой шубе, плечо в снегу, выпивший.

«У меня сердечные перебои, мне надо воздухом подышать, я пьян», думал Мусоргский, садясь в санки.

— Вези меня куда-нибудь... По Невскому, через мост, все равно... Потом обратно, в театр... Я скажу...

На Николаевском мосту стужа звенела, как громадная тугая струна.

Тянулись два ряда чугунных фонарей. В них было что-то торжественное и беспощадное. Зажженные фонари на мосту, похожие на погребальные факелы, отбрасывали вверх черные лучи. Такая игра света и тени часто бывает в Петербурге в мглистые зимние ночи.

«Пьяная фантазия, страх», — презрительно упрекал себя Мусоргский, укрываясь от ветра за спину извозчика.

Это его постоянный страх, — невыносимый, — от которого болит сердце.

Занесенные снегом санки попадались навстречу, обгоняли лихачи в дрожащих сетках, протащилась кон-

ка, освещенная огнями. Люди в конке покачиваются, как тени.

Все снуют между погребальными фонарями, и все побеждены. Раз и навсегда побеждены, никто не отвертится: все побеждены смертью. И вся его музыка только темный страх перед смертью, татарский вопль ярости, отчаяние перед неминуемым бессмысленным истреблением.

Жало смерти не вырвано. Во всех черный луч. В нем, в курносом Ваньке, в генерале, промчавшемся на лихаче, закутанном в николаевскую шинель с бобрами, и в этой покорной кобыле, с ёкающей селезенкой и длинной кривой спиной, побелевшей от дорожки снега.

Все, что зовут жизнью, только прислушивание человека в самом себе к надвигающейся смерти. Она вламывается как в проломы, единственная победительница всего, опустошающая тьма.

— Философская болтовня дурного вкуса ... А у тебя музыка, — с раздражением по привычке, спорил он с собою, пригибаясь за спину извозчика. Он привык бормотать под нос, как часто одинокие люди.

— Нет-с, не философия ... Это и есть моя музыка ...

Еще когда он написал романс «Злая смерть», романсец плохой, черт ли в нем, но и там тот же испуг. А его Борис?

Борис, — сердце упало от тонкой крылатой печали, как всегда, когда думал о царе Борисе. Не поймут Бориса. Кому понять? Сегодня, конечно, будет провал ...

О царе Борисе он думал, как об единственном родном существе на свете, как о своем старшем брате, величественном, благородном и бесконечно несчастном.

У царя Бориса черный луч в глазах. Царь Борис — Эдип Московский, — жертва, брошенная на растерзание року, всепоглощающей тьме. Борис отчаянно борется, а все равно все растерзает, сожрет бунт смерти. Смерть — бессмысленный бунт против живой гармонии мира.

— Браво, вот афоризмишко, — Мусоргский усмехнулся. Он дрожал от холода, дышал вином в затылок вознице, и спроил с собою.

Не афоризмишко, а истинно так. Эллады, Римы, Питеры Брейгели, Ботичелли, Сикстины, си-минорная соната Листа, Бах... Что Бах... В Нищем, Галлилейском узрели Сына Божьего... А все равно все ухает в пропасть, во тьму. Все одно похоронное шествие между погребальных факелов. Черный луч.

И его песня Марфы, которую он обдумывает, — черный луч, — она отпевает себя, весь мир, — и Шабаш Духов Тьмы, Песни и Пляски Смерти, Без Солнца.

— Сжечь, все сжечь, все... — шептал он с горечью, отчаянием. — Что я понимаю в жизни, мире? Нет, никто и ничто не ушло во тьму. Все сосуществует с нами... А я пьяница, кощунник... Я ничего не понимаю... Но мне страшно... Господи, страшно в мире Твоем... Это от больного сердца: страшно... Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного...

На извозчике, заметенном снегом, обмерзший, с руками, глубоко засунутыми в рукава потертой шубы, Мусоргский снова вспомнил Анну.

Когда-то мальчишкой-офицером, он встретил ее, и услышал в январскую метель мелодию, говор мира Господня.

— Анна, — бормотал он, озираясь с жалобной улыбкой, — Анна...

Слезы, помимо воли бежали по щекам Мусоргского, ледяшками замерзали на всклокоченной бороде, схваченной инеем. Как все пьяницы, он плакал легко и обильно.

Парнишка-извозчик оглянулся раза два и осклабился: видать, пьяный барин, бормочет . . .

Мусоргский приказал везти себя в Мариинский театр.

У освещенного театрального подъезда мелькали тени конских голов, кучеров на высоких козлах, с натянутыми возжами, подкатывали кареты, залитые огнем, дрожащие, в морозном тумане.

Стучали двери, спешила толпа, пар дыхания вокруг шапок и шляп, как смутные нимбы. От холода на подъезде потускнели зеркальные щитки ламп.

Две дамы в ротондах переходят площадь, чуть приподымая вечерние платья. Ничего нет изящнее на свете свежей женской головки, причесанной к театру, атласной острой туфельки, и как несет женская рука в белой перчатке до локтя, — из мягкой, какой-то целомудренной замши, — крошечный черепаховый бинокль и веер со страусовыми перьями в створках слоновой кости.

Перед театром, на площади, сильно горят факелы: два чугунных фонаря. Над ними бьет во тьму черный луч.

Мусоргский смешался с толпой, вошел в подъезд.

На лестнице в боковые ложи, заколотилось сердце, как над обрывом. Он остановился, мгновение думал: когда извозчик возил его, окоченевшего, по улицам, рядом с ним, в санках, была Анна. Морозный призрак. Он не посмотрел. Но если бы протянул руку, коснулся бы, кажется, сквозь шубку худого тела, тонких ребер, и Анна, студеная, мертвая, положила бы ему голову

на плечо с закрытыми глазами, так же, как двадцать лет назад...

У вешалки в толпе стали встречаться знакомые и приятели.

Подошел журнальный критик, пышноволосый, тучный, с бриллиантовыми пуговками на тугой крахмальной рубашке. Мусоргский не без зависти, наивно подумал: «откуда у него бриллианты?»

Ему жали руки, улыбались, его поздравляли. Все говорили шумно. Он дурно узнавал лица и не слушал. Ему поклонился какой-то чиновник, с жестким ежом, выбритый иезуит в виц-мундире, и Мусоргский, как всегда перед чиновниками, почувствовал в чем-то вину.

Его позвали в ложу.

Театр бледно сиял голубым бархатом. У лож дрожали свечи.

В зрительном зале было так тепло, светло, полно смутного звучания, что Мусоргский захотел сесть в голубое кресло с изогнутыми ножками, — первое к барьеру, — закрыть глаза, отдохнуть.

В партере, у оркестра, стояли люди во фраках, мундирах, тихо говорили, изящно наклоняясь друг к другу. Там выблескивал эполет, люстры отражались на лысинах. Над люстрами, на потолке, реяли крылатые богини, гении с голыми ногами трубили в золотые трубы.

Люди тихими стаями шли между голубых кресел. Легкий говор, праздничное звучание подымались снизу, обдавая теплом, духами.

Кое-кто навел на Мусоргского бинокль. Он делал вид, что не замечает, но взбил рукой спутанные, белокурые волосы, откидывался на кресле: простодушно позировал.

Он отогревался в голубом тепле и красовался в ложе с легкой гордостью, с легким презрением ко всему на свете.

А сосед, тучный критик, почему-то с тревогой смотрел ему на шею.

Черный галстук Мусоргского, бант из посекшегося шелка, ослабел, развязался, стала видна шея музыканта, полная, нежная, какой-то виноватой белизны. Критик не решался сказать, как неудобно видна шея.

А Мусоргский забыл имя критика, что-то мудреное — Епидофорович, если бывают такие имена, — сказал наудачу:

— Павел Демикофорович, пожалуйте бинокль . . .

Он говорил, нарочно грассируя, нарочно небрежно обводил театр биноклем. Ему нравилось, что на него смотрят, что подымается снизу живое тепло, шуршание платьев, приятный звон шпор.

В зале стемнело, но еще постукивали мягкие двери, и седые капельдинеры, торжественные старики в серых гамашах, похожие на великих артистов, провожали зрителей на места.

— Ш-ш-ш . . . — внезапно зашикал Мусоргский.

В ложе на него покосились. Уже беспокоил его развязанный галстук, теперь шиканье. Мусоргский ослабел в тепле, он пьянел снова, заметно . . .

Борис Годунов начался.

Мусоргский сидел в темноте, только его большое лицо, с полуоткрытм ртом, было освещено сценой. Он замер, поджался, когда начался Борис, стиснул руки между колен: руки стали ледяными, крупно дрожали.

Что-то птичье, летучее было теперь в очерке его головы с прозрачными глазами, с полуоткрытым ртом. Он слушал.

И каждый звук его музыки стремительно ранил его тончайшей огненной стрелой.

Тысячи летящих стрел пронзали его. Он стал сквозной от стрел, израненный, распятый сладостной болью, томительным страданием . . .

Музыка двигалась по театру огненными горами, затопляла светлой грозой. И все это было так хорошо, что Мусоргский заплакал, щеки загорелись от слез. Музыка потрясла его.

Музыка как бы сдвигает нечто несдвигаемое, стену, завесу, между жизнью и смертью. Вот-вот сдвинет, и несвершаемое свершится, во что он верил всегда, — чудо внезапного преображения, сияющее воскресение . . .

И его сердце, пронзенное стрелами, трепетало, кидалось, — крылатое, — от неутихаемого легато, от дыхания его струнных квинтетов, и казалось, он летит с ложей вверх, и летит Мариинский театр, как голубой ящик, со всеми людьми, — Петербург, Россия, мир . . .

Он утер платком широкое, пьяное лицо, так был растроган. Конечно, это не чудо, какое там чудо. Но это прекрасно.

И когда ударили кремлевские колокола, пианиссимо его там-тама, — глубокий, мощный гонг, — Мусоргский порывисто поднялся с кресла и, пошатываясь, поклонился оркестру.

В ложе зашептались. Лучше его увести, скандал . . .

Театр гремел, шумел. Точно посветлело от рукоплесканий. Наверху, на гелереях, хлопали жарко, дружно, внизу одни хлопали, другие оживленно, нервно переговаривались.

Никто, кроме самого Мусорского, не был особенно растроган или взволнован его музыкой. А он, радост-

ный, с заплаканными глазами, хотел хлопать оркестру, но остановился с приподнятыми руками, со смущенной улыбкой.

Кто-то за ним сказал, что его просят за кулисы. Он охотно поднялся. Он был счастлив.

Его повели мимо императорской ложи, по глубокому голубому ковру, раскинутому во всю белую залу.

У белых дверей стояло двое часовых, сабли наголо: красные груди мундиров, лакированные белые ремни и темные от натуги солдатские лица. Часовые чуть покачивались. И все было грозно, величественно, напряжено, у императорской ложи.

Светлый шум фойе был похож на праздничный хорал. Перед Мусоргским, в конце коридора, открыли дверку в стене, он вошел за провожатым в проход.

Там было очень жарко и тихо. Пот струился по стене, крашеной масляной краской.

Потом толкнули дверь в другой коридор. Там резкий свет, хлопанье дверей, крики, ослепили, оглушили Мусоргского.

В большой зале, смутной от табачного дыма, все суетились с лихорадочной тревогой. Гулким эхом отдавались голоса. Точно нарочно хлопали двери. Дуло по ногам.

Мусоргскому показалось, что он во сне, на диком карнавале.

Туда-сюда спешили странные люди, растерянно суетясь, как на пожаре.

И это были не люди, а чудовища.

Тяжкие чудовища, в зеленых, красных московских сапогах, с посохами, в столбах боярских шапок, в неповоротливой парче, обшитой мехом, с фальшивыми перстнями на пальцах.

Неживые бороды, остановившиеся глаза, лица в пластах румян и белил, мертвые носы розоватого воска, с проступающими мутными каплями пота.

Туда-сюда сновали лихорадочные чудовища в парче и в лаптях, в изодранных рубахах и стрелецких красных кафтанах, с бердышами, пищалями, в жестких клочьях звериных бород, бродяги, боярыни, монахи, с мигающими ресницами, измазанными какой-то желтой глиной...

Мусоргского, вероятно, вели за кулисы общей актерской уборной, курительным дортуаром.

И блистали у чудовищ страшные глаза, обведенные черным, всего страшнее у женщин, под насурмленными бровями, среди ярых румян.

Всех страшнее были чудовищные московские бабы и девки, жаркие, выблескивающие белыми холстами, бархатом, парчей, с грудами пусто бренчащих византийских ожерелий, с черными косицами, переплетенными по-татарски золотом, серебром, падающими на каменный пол.

Его Москва, бунтовая, ожившая, сумасшедшая, снующая лихорадочно, — вблизи, за кулисами, показалась ему ужаснее, чем он задумывал ее.

Все было не то, что он задумал. За кулисами, на мгновение, все показалось какой-то корчей, кощунством. Не чудо, а чудовище. Кощунство...

А его вели, вели, по деревянным лесенкам, в узких коридорчиках, заваленных ворохами пестрого платья, золочеными картонными щитами, тронами, обитыми прорванной крашеной холстиной.

Он дурно понимал, куда его ведут. Он как бы стал меньше ростом, точно высох мгновенно, побледнел. Все не то, все чудовищное кощунство...

И сердце билось, как над бездной.

Мусоргского провели на сцену, поставили для него за левой кулисой венский стул.

Освещенная сцена дышала горячо. Опущенный занавес похож на испод грубого, бурого ковра.

На колосниках бесшумно возились рабочие. Двое сидели верхом на стропилах, спускали вниз какой-то свернутый парус.

Свисали канаты, покачивались закрученные концы. В вышине была темная и тайная пустота кулис.

Сцена с ее блоками, канатами, свернутым парусом, медленно ползущим сверху, показалась Мусоргскому зловещей палубой корабля и нутром громадного, жаркого собора.

Синие холстины, они зовутся небом и синевой, рядами свисали сверху.

Мусоргский издали заметил Варлаама. Его пел тучный, часто мигающий Петров. Нездоровая бледность проступала сквозь желтое лицо актера, лоб орошен потом, коленкоровый черный подрясник нарочно выстрижен в лохмотья.

За кулисы торопился Шуйский, волоча рукава кафтана, отороченные мехом. Подслеповатые глаза обведены красным, до красна рыжая борода: отвратительная узкая лисица.

Мусоргский чувствовал вину, что эти кощунственные страшилища — его создания.

И он дрогнул от страха, когда прошел мимо сияющий царевич Дмитрий, в белом кафтане, в белой шапке с бриллиантовым пером, — белая смерть, с лихорадочными глазами, обведенными черным, с ярким, как полоса крови, ртом. Это был актер Комиссаржевский. Он откашливался в платок.

Двое рабочих пронесли дрожащую на подрамнике дверь, расписанную в узоры. Мусоргский дал им доро-

гу, отступил куда-то направо, по канатам, по холщевым холмам или волнам, в которых утопала нога. Он задел плечом ярко зеленое дерево, вырезанное из папки, в накинутой сетке. Театральное дерево покачалось слабо.

Бурый ковер, застилавший сцену, вдруг пополз, пополз, и открылся черный провал, дышащая тьма, с колеблемыми тенями голов, в косом луче света с верхней галереи, из тьмы поднялся гул, угрожающий и глубокий:

— А-а-а...

В протяжном, жадном полустоне-полувздохе «а-а-а» был какой-то древний звук: это был театр.

Со сцены стали доноситься голоса. Мусоргский теперь слышал в них едва подавляемый страх, стискивающий горло актерам. Зловещие, глухо и незнакомо звучали самые знакомые слова:

Шуйский: Толпу, быть может, привлечет Дмитрия воскреснувшее имя.

Борис: Дмитрия... Царевич удались...

Федор: О, государь, дозволь мне при тебе остаться...

Борис: Нельзя.

Федор: Узнать беду...

Борис: Нельзя, дитя.

Федор: Грозящую престолу твоему...

Борис: Царевич, царевич, повинуйся...

Сердце Мусоргского билось медленно, сильно, как тяжелый груз. Ему было трудно дышать. На мгновение сердце останавливалось. Он примостился у откоса за кулисой, в которой была проверчена дырочка. Там он слушал всего Бориса.

В антрактах его искали знакомые. На сцене не нашли, решили, что он в ложе. Его в ложе не было и,

после третьего действия, кто-то сказал, что Мусоргский, чувствуя провал Бориса, ушел из театра.

Но Мусоргский стоял за слабо дрожащей декорацией, и слушал музыку с опущенной головой, задумчиво и застенчиво.

Театр шумел, хлопал, кричал. Больше всех хлопала и кричала галерка, — студенты, — им нравилось, что здесь жарко, что можно кричать, топать ногами, внизу одни хлопали, другие шикали. Царь Борис понравился и не понравился, это не был провал, не был и успех.

Мусоргский с закрытыми глазами слушал что-то, и на его бледном лице, по которому от духоты струился пот, блуждала застенчивая улыбка. Как будто он слышал дуновение прекрасной музыки, какую не записать, о какой не рассказать другим.

По холщевым холмам к нему бесшумно, как босой, подошел человек:

— Извольте, вашскородие, идти. Лампы надоть тушить.

— Тушить? Да . . . Куда идти?

Сцена уже была темна. Она как будто похолодела громадно. Но полутьма дышала, звучала, струями двигалась тепло.

— Я вашскородие к вешалкам выведу, — сказал ламповщик.

Он был не босой, а в войлочных туфлях. Сухощавый и кривоногий, с жесткой седой головой, он осклабился, показал крепкие зубы, дохнул вином:

— Кончился киатр, вашскородие, уходить надоть . . .

Вот и все. Кончился царь Борис. И, разумеется, ничего не случилось. Похлопали, пошикали, разошлись, и ламповщики гасят лампы.

Мусоргский шел за ламповщиком в темном коридоре. По ногам несло холодом.

— У, сволочи. Нет того, чтобы двери закрывать, — ворчал провожатый. — Рук у них нет . . .

Мусоргский посмотрел на его тощую спину, на жесткий седой затылок, и подумал, какая студеная ночь на дворе, как его будут фальшиво поздравлять в «Малом Ярославце». Лучше одному, без приятелей, пойти куда-нибудь в дрянной трактир, на извозчичий двор, еще лучше не выходить сразу на холод, — и сказал:

— Тебя как зовут?

— Егором.

— А ты как, Егор, насчет . . .

Мусоргский щелкнул пальцем по воротнику.

Ламповщик осклабился, потер жесткий еж:

— Что же, этта можно . . .

Мусоргский дал ему полтинник.

— Дозвольте номерок, вашскородие, я живва шубу доставлю . . .

Игроки и пьяницы странным чутьем узнают друг друга. И этот бывший барский крепостной, угрюмый ламповщик из николаевских солдат, и этот запущенный барин, бывший гвардейский офицер, почуяли оба, что пьяницы.

Мусоргский, ожидая шубы, стоял в темном коридоре.

Погасший театр еще звучал, роился тихо, Мусоргский слушал прекрасные дуновения, каких не записать, и пальцы рук, сложенных за спиною, едва шевелились.

Потом ламповщик повел его куда-то. Холодом вздувало волосы. Они перешли узкий двор, где стены были в черных потеках сырости, как стены бани. Мимо поленницы дров спустились в подвал.

Там грудой были навалены раскрашенные и золоченые театральные табуреты, перевернутые ножками вверх. какие-то конские попоны. Там стояли потертые футляры для виолончелей и пыльные контрабасы, с позеленевшими струнами, с отбитыми коричневыми планками.

Мусоргский близко увидел гриф контрабаса, с медными колками, выточенный, кудреватый, как голова огромной стрекозы.

Повидимому, это была кладовая для громоздких музыкальных инструментов и кладбище театрального хлама. А в углу стояла жесткая койка, застланная солдатским одеялом.

Ламповщик нагнулся и, крякая, достал из-под койки вино. На золоченом табурете, на газетной бумаге, он разложил соленые огурцы.

От водки на глаза Мусоргского выступили слезы. Он пил молча, повлажнели концы белокурых усов.

Главное, конечно, царевич Дмитрий, воскреснувшее имя, мертвец, сияющий бриллиантами. Этого не поняли. Царевич Димитрий его лейтмотив. Всегда манящая и всех, героев и последнюю мошку, обманывающая судьба. Льстящий рок.

Борис, — крылатая жалость, — его изящный и благородный старший брат, справедливый, мудрый правитель, царь Борис — человек. Человек — вечно виновная жертва. Человек всегда, перед кем-то, в чем-то виновен. Было или не было злодейства, Борис сам не знает, но верит в свое злодейство и скорбит душа; в нее вонзился черный луч. Черный луч . . .

— Черный луч, — повторил Мусоргский, посмотрел на хмурого солдата. — Но почему же, за что, человек вечная жертва.

— Да вы пейте, вашскородие, еще налью . . .

Ламповщик и сам пил, откинувши голову, на его щетинистой шее ходило Адамово яблоко, а в горле от сильных глотков что-то зыкало — зык-зык . . .

Мусоргский снова пил молча. И смерти Бориса не поняли. Это не смерть, а кончина. Торжество освобождения. Царственное торжество, победа над роком, то же, что смертию смерть поправ . . .

Мусоргский поднял на ламповщика пьяные, прозрачные и погасшие глаза, сказал, тихо шевеля пальцами:

— У меня тут короткие, пятнадцатиактовые заключения. Это же не карачун, не околеванец, — это победа . . .

Ламповщик ничего не понимал, что говорит барин, только знал, что барин дал на вино полтинник мелочью и жалобно жалуется.

— Вы, вашескородие, огурцом закусите, — хмуро сказал ламповщик.

А Мусоргский задумался, подпер кулаком набрякшие щеки. Главное — Кромы. Кромы — бунт смерти. Юродивый хочет остановить бунт, плачет.

— Фа-ми, фа-ми, — тоненько, странно запел вдруг Мусоргский, каким-то неживым голосом.

Ламповщик покосился, выпил вино, крякнул, отер жесткой рукой жесткие колючки усов.

. . . Бунт, как бы лег к ногам юродивого, замер, попранный, а сам напрягается, ужаснее, ужаснее, и разразился, ударил — гей — да, — и тут уже не юродивый, а эти патеры, иезуиты, пытаются остановить, усмирить . . .

— Как же усмирять, как же . . .

Мусоргский горько рассмеялся, утер платком пьяное лицо:

— У меня тут фугато . . . Фугато: Бунт . . . Не попран бунт смерти, кто усмирит его? . .

Ламповщик сидел с ногами на койке. Ноги у него были какие-то крючковатые, как у зверя. Со злобной досадой слушал он барина, понимал, как он чем-то обижен, свертывал цыгарку, облизывая ее языком, и думал о своих обидах. Он тоже был пьян, и пьяницы говорили мимо друг друга, и каждый жаловался на свое.

— Все сволоча, — угрюмо бормотал ламповщик. — Двенадцать цалковых платят, а сами киатры . . . Этта для чего надоть, киатры? На что человеку надоть. Ни на что. Зачем такое? Запретить надоть. Дров сколько идеть: освещение, отопление. Казенные дрова жгуть. И нет того, чтобы двери закрывать, сволоча: баре, дверь за ними закрывай, — рук нет . . .

Мусоргский потер лоб, прислушался с любопытством.

— Да ты постой, братец, — тихо рассмеялся он. — Да какой же ты ламповщик, когда ты Калибан . . . Настоящий шекспировский Калибан, — и откуда? . .

Мусоргский поднял палец:

— Из подполья императорских театров.

— Никак нет, не Калибан. Егором Дергачевым звать. Будете еще пить, вашескородие, али убирать?

— Убирай, Калибан, Дергачев . . .

Мусоргский высыпал на золоченый табурет серебряную мелочь. Ламповщик помог ему надеть потертую шубу.

Без шапки, волосы хвачены инеем, кривоногий Калибан проводил его через двор.

Мусоргский один вышел на Театральную площадь.

Она была совершенно безлюдна. Только побелевший от инея городовой в башлыке стоял там, как мерз-

лое изваяние. Уже не горели два чугунных фонаря у театрального подъезда...

Но стало светлее от ночной стужи, звонкой и сильной, от зеленовато-прозрачного морозного неба.

Мариинский театр блистал инеем. Мусоргскому показалось, что от театра, как от музыкального ящика, восходит к стынущему небу тихое звучание. У виолончелей звук горячий, коричневый, у контрабасов еще горячее, багряный, и теплый, васильковый, у скрипок, и голубой у флейт. От голубого театра восходят вверх звуки голубых флейт.

Это поет еще царь Борис. Но могло и не быть царя Бориса. Все равно, никто не узнает, не поймет тайны прозрачного морозного молчания, величественной бездны ночи, стынущей над головой.

Мусоргский медленно пошел вдоль канала, где тянулась цепь фонарей. Под его одинокими шагами звенел крепкий снег...

СВИДАНИЕ

Жизнь Мусоргского, как и каждого человека, о ком, хотя бы в примечаниях к справочникам, пишут после смерти, передается, примерно, так:

1860 год — скерцо, исполненное на концерте Русского Музыкального Общества, под управлением Рубинштейна, 1862 — «интермеццо», 1863 — Царь Саул, Иисус Навин, 1868 — Сиротка, Четыре Песни, Шабаш Духов Тьмы, Пляска Смерти, музыка к Эдипу, причем в справке может быть упомянуто, что, например, Шабаш Духов Тьмы написан особенно сжато и горячо в форме разбросанных вариаций и перекличек; 1874 — опера Борис Годунов поставлена на Мариинском театре. Опера провалилась, критики отметили плохую фактуру и оркестровку, и еще опера, Хованщина, с убийственным отчаянием, Песни Марфы, с длинными органными пунктами, тоже недоработанная, сырая.

Кто-нибудь отметит, что многие отрывки ранней работы Мусоргского «Саламбо» вошли большими кусками в «Бориса Годунова», например, ариозо царя Бориса, фразы Самозванца у фонтана, хор боярской думы, и самая смерть Бориса.

Укажут еще, что после «Хованщины», он задумывал писать «Пугачевцев», но не написал. Он писал «Со-

починскую Ярмарку», но бросил недоконченной, как и «Женитьбу».

А в жизни Мусоргского заметят, может быть, три темных перелома.

Первый в ранней молодости — в конце пятидесятых годов, около 1859 года, когда Мусоргский как будто потерял какое-то близкое существо. И эту потерю, опрокинувшую его жизнь, не мог простить смерти, а сам запил горькую...

Второй перелом — около 1865 года, смерть матери Юлии Ивановны, которую он горячо любил, называл святой.

Мусоргский зажил горемыкой, один, как перст. Он начал спиваться.

Третий перелом — после неудач с «Борисом Годуновым», — в 1874 году, когда была урезана его сцена в Кромах. С середины семидесятых годов Мусоргский опускается, спивается окончательно.

Вся его жизнь к этому времени превратилась в ночи в «Малом Ярославце» и в низкопробных питерских трактирах.

Никто не знает причины темных переломов его жизни и его страшного пьяного недуга.

Правда, некоторые называют имя Надежды Опочининой, сестры его друга Александра Опочинина, музыканта-любителя и тонкого человека. В семье Опочининых Мусоргский около 1868 года жил некоторое время.

Надежда Опочинина скончалась очень рано. Мусоргский посвятил ей некоторые работы...

Но раньше того, некая женская тень, — Неизвестная, — прошла по жизни Мусоргского. Он потерял кого-то в конце пятидесятых годов и вся его жизнь превратилась в безутешное одиночество.

Особенно 1859—1866 годы насыщены глубокой лирикой его неизвестной любви, выражением личных чувств.

Таким горячим чувством насыщен романс «Ночь» 1864 года, «Желание», «Надгробное письмо», и романс «Горними тихо летела душа небесами» . . .

Так от жизни Мусоргского остался один звук его исканий и страданий, тщательно разбитый по годам, точно не один человек искал и страдал, а вот в такие-то и такие годы, что как будто и есть самое главное, некто, называвшийся Модестом Мусоргским (впрочем, совершенно все равно, как он назывался), сделал то-то и то-то, иногда с необычайной силой, иногда до крайности дурно, разбросанно, смутно, как во влачащемся лепете косноязычия.

Будет еще упомянуто, что в 1859 году Мусоргский и Бородин, потерявшие было друг друга из виду, встретились снова, работали вместе над Шуманом и что в 1862 году Мусоргский познакомил Бородина с Балакиревым, откуда и началась Могучая Кучка.

Кто-нибудь отметит одну странность в жизни Мусоргского: в его жизни не было женщин, романа. Только в самом конце его короткой, пьяной, точно растерзанной жизни, мелькает имя певицы Леоновой, с какой он в 1879 году давал не очень удачные концерты по России.

Певица Леонова позже рассказывала, что Мусоргский страдал устрашающими, черными галлюцинациями алкоголиков. В эти времена он уже носил случайное платье, с чужого плеча, какое ему покупали у старьевщиков. Он пропивал все, и свои нищенские одежды.

Он был всегда одинок, но в три-четыре последних года жизни он был заброшен всеми.

С концом его жизни будет упомянут и скромный дом Наумова, на Пятой линии Васильевского Острова, куда Мусоргский, уже опустившийся пропойца, иногда приходил искать ночлега.

Можно было бы также собрать не мало самодовольных и покровительственных критических статей о Мусоргском, дружеских отзывов современников, свысока, хотя бы таких, как статья Цезаря Кюи о постановке Бориса Годунова в январе 1874 года, о «рублевых речитативах и разрозненности музыкальных мыслей автора», о всех недостатках его, какие «произошли от незрелости, от того, что автор не довольно строго критически относился к себе, от неразборчивого, спешного сочинительства», и еще много других в том же роде.

Впрочем, тот же Цезарь Кюи, великодушно подарил Мусоргскому, простуженному после запоя, обширный зеленый халат, стеганый на вате, с какого-то плечистого генерала.

Кто-нибудь полюбопытствует, может быть, и выписками из бухгалтерских книг нотного издательства господина Бесселя, как сочинитель музыки Мусоргский и второй гильдии купец Бессель заключили между собою условие на продажу им, сочинителем, ему, второй гильдии купцу, оперы Борис Годунов и целого сборника музыки, причем сочинитель с 1 сентября 1871 года по 1 сентября 1875 года получил, на круг, от издателя 701 рубль 50 копеек, а за Песню Марфы сочинитель не получил ничего, а за отдельные романсы и песни Бессель платил ему не больше, чем по 20 рублей.

Мусоргский спивался. Приятели и музыкальные друзья покровительствовали ему по одной любви к ближнему. Друзья, например Стасов, не раз брались отыскивать его по низкопробным кабакам, среди вся-

кой человеческой дряни, спасать из подвалов пропойц ободранного и распухшего от водки.

Мусоргский, конченный человек, шел ко дну. Нередко его выгоняли с квартиры, нечем было платить хозяину. И были такие ночи, когда он, с тощим чемоданом, набитым нотами и бельем, бродил без ночлега по Питеру. Чемодан, одна крышка порвана, с отставшей папкой, хлопал его по ногам. Спьяна он терял по улицам ноты и чулки, ком смятых рубах, и обрывок ковра с персианкой и лютней, — точно терял свою последнюю земную оболочку.

В одну холодную ночь он сидел с чемоданом до рассвета на слепом льве, что с поднятой лапой стоит у Главного Штаба.

Он сидел верхом на мраморном льве, скрестивши руки. Нетрезвый, он то дремал, покачиваясь, то просыпался и дрожа от холода, слушал удивленно и покорно страшную немоту неба и земли, и в звуке немоты, искал ту мелодию Анны, какую услышал однажды.

Тогда он смутно думал, что это его распятие, Холодное Распятие на камне, и так и надо, чтобы был он распят, если не сошла с земли тьма, смерть, грех, и не преображен мир.

Потом его отыскивали, устраивали ночлег, квартиру, снова службу в контроле, приносили в подарок сюртук или шубу с чужого плеча, перепадало несколько кредиток от покровителей, хотя бы от Тертия Ивановича Филиппова или того же Бесселя, и Мусоргский на время поселялся опять либо на Пантелеймоновской, либо на Обводном канале, в том же запущенном доходном доме с проходными дворами, где жил двадцать лет назад молодым преображенским офицером.

Может быть, все было бы по иному, если бы прапорщик гвардейский поселился тогда, как полагается,

в казенной квартире, в казармах на Кирочной. Но там шел ремонт, и в бедном доме на Обводном пронеслось четыре-пять недель жизни Мусоргского, переменивших все.

Когда он сказался в батальоне больным, ротный командир посылал к нему офицеров и, может быть, приходил к Мусоргскому тот самый поручик с карими глазами (к нему так шла красная грудь преображенского мундира), кто так любил варламовский романс «Когда еще я не пил слез из чаши бытия». Но на двери желтела записка «Нет дома», и поручик ушел так же, как лекарь Бородин.

Так и писарь, посланный из батальона с прошением, написанным на высочайшее имя по всей форме, не отыскал Мусоргского, и прошение было подано позже.

Как могло случиться, что этот изящный и приветливый барич, гвардейский щеголь, увлеченный с легкой небрежностью какой-то там музыкой, живой и милый умница, как его называли в полку, переменился внезапно?

Но так случилось. И началось это именно в те две-три недели, когда Мусоргский, забывши и гвардию, и барство, и самого себя со всей своей жизнью, точно одержимый, со светящимися глазами, стал бродить по дрянным питерским трактирам, разыскивая кого-то.

Никто и не знал о несчастной арфянке Анне. Никто и не узнает, какую ее мелодию услышал он однажды в питерскую метель, — если только не перелился в чем-нибудь ее неведомый звук в Песню Марфы.

Но он услышал небесную мелодию, и отдал за нее себя, и всю свою жизнь.

Теперь, через двадцать лет, никто и не вспомнил бы того худенького офицерика в этом раздраженном, грузном человеке, погрязшем в страсти к вину и в ночной

кабатчине, с толпой ее актеришек, мелких журнальных писак, попрошаек и пьянчужек, охотников напиться на даровщинку. В этом мнительном, обидчивом и вместе очень кротком и несчастном человеке, легко готовом проливать обильные пьяные слезы за столом, залитым дешевыми винами, никто не узнал бы того молодого человека, со светящимися глазами, каким был Мусоргский двадцать лет назад.

Но это было то же существо, та же душа, тот же Мусоргский.

Только жизнь его как бы остановилась в то утро, когда в петербургской газете ему попалась на глаза заметка о неизвестной утопленнице: «приметы: волосы темнорыжие, юбка простая, синяя, грудь повязана старым оренбургским платком», — в то утро, когда он, в мертвецкой Марии Магдалины, увидел Анну.

Тогда остановилась жизнь его, иссякло время.

Года через два или три, он как будто забыл Анну, точно и не было ее, но больше не замечал, как живет и к чему живет. А легче всего было жить в теплой смуте, в забвении вина, по кабакам и в облюбованном «Малом Ярославце».

С опухшими, точно налитыми, руками, в заношенной визитке, залитой давнишними соусами, с воспаленным лицом, всклокоченный, с галстуком, выбивавшимся на нечистый бархатный жилет, он кричал хрипло, пьяно, какому-нибудь актеришке, истасканному кабацкому подхалиму:

— Творить надо, не пьянствовать, творить . . .

И тут же, совершенно по-детски, с наивной завистью выкатывал серые глаза на чей-нибудь щегольской жилет и перебивал себя:

— А чем вы выводите пятна? Я, знаете, зеленым мылом, не помогает . . .

Актеру или забежавшему в «Малый Ярославец» вертлявому, как лягавая, газетчику, или присевшему за его стол музыканту, выходящему в люди, разглядывающему со скрытым трезвым презрением этого странного, раздраженного чудака, кто мог бы быть хорошим музыкантом, а опустился вконец, — Мусоргский, с пылающим лицом, яро что-то доказывал, или горько жаловался и плакал, навзрыд, детскими слезами, и пьяно пророчествовал:

— Погублена будет русская музыка . . . Надолго заглушат наши всходы . . .

И вдруг, бессильно стуча по столу кулаком, страшно вращая белками глаз, потрескивавшими, как у лошади, в красных жилках, он проклинал тяжелой бранью свору бездарных музыкантишек, капельмейстеров, пустых концертных брянчалок, критиков, чиновников, мундирщиков.

— Фельдцейхмейстер! — кричал он дико. — Генералфельдцейхмейстер! А что значит, никому не понять . . . Чертовщина Петровская . . . И хотите, чтобы простой солдат, простой мужик ее понял, да еще полюбил . . . Врешь! Россия-де с Петра ушла вперед . . . Врешь! . . Никуда не ушла, еще горьше во тьме. Ослепили Европами, империю состряпали . . . Империю . . . Да народ плевать хотел на барскую затею . . . Империя!

Мусоргского успокаивали, шикали, боялись скандала, полиции, и потому именно, что его удерживали, он кричал еще свирепее, с трясущейся мокрой бородой, смахивая руками бутылки:

— Врешь! Не замолчу . . . Куда Святую Русь загнали? Попсовали задворками европейскими . . . В чем гений народа, вдохновение? Никто больше не знает . . . Где святая Русь . . . А, пугало Петровское . . . Ужо, всех

нас народ предаст, за самое первое, что станет ему понятнее, ближе, чем ваш фельдцейх, фельдцейх...

А то, вращая глазами в полопавшихся жилках, рассказывал с презрительной усмешкой, как какой-нибудь высокий покровитель выпрашивал у него музыку:

— Он у меня Хованщину за двадцать пять целковых выклянчил... Я ему бросил ее: на, подлец, жри... А он в парадном фраке, со звездой, превосходительство, у меня в ногах, в ногах, на коленках ползал, собирал листки... Потом, ничего, почистил превосходительские штаны: «И чего вы, любезный Модест Петрович, шумите», двадцать пять целковых отвалил...

Может быть, так было, может быть нет, но он с жадным удовлетворением, точно хвастаясь, повторял — «двадцать пять целковых отвалил».

Но чаще, и целыми месяцами, он сидел в «Малом Ярославце» тихий, рассеянный, как бы погасший. Тогда было заметно, как ему все равно на случайных собутыльников, и на то, что он сам кричал намедни об искусстве, музыке, России.

Потягивая вино, в своем углу, у лестницы, он затихал, потому что ему надоедало представляться.

Ему казалось, что уже много лет он представляется с людьми, это так и надо, — представляться, — о чем-то с виду горячиться, что-то защищать, о чем-то спорить, хотя в глубине все пустой вздор, и все равно, ничего не разрешивши, ни в чем не согласившись, все ухнут куда-то вместе в черную прорву, называемую смертью (в этом слове он слышал два слова: сумрак и мера). Все на свете шумят, теснятся, рвут, когда доведется, друг другу глотку, будто бы во имя истины, но истины нет ни у кого, и все, что делается на свете, все святое, грешное, прекрасное, омерзительное, делается

по одному тому, что в страшной тяготе бытия ищут все забвения, утешения.

А его настоящая жизнь иссякла, когда от него ушла певица Анна. Он об этом не думал, но чувствовал, что его жизни нет больше, именно потому, что нет Анны. Оболочки же своей, погрузневшего, тяжелого тела, противного ему самому, не было жаль вовсе, и он сжигал его на вине, влачил по кабакам и по извозчичьим дворам, где пил водку стаканами, потому что так жить стало легче всего.

Между тем, никто не знал, и не догадывался, о тех давнишних неделях, в конце петербургской зимы, когда на его дверях была приколота пожелтевшая записка «Дома нет».

Никто из знакомых и приятелей Мусоргского не подозревал о его быстротечной горькой любви, и все это только петербургское предание, темная легенла о Мусоргском...

Лиза Орфанти, впрочем, знала об его любви.

Уже много лет Елизавета Альбертовна Орфанти жила в Италии. Она так и не вышла замуж и на слегка поблекшем лице сорокалетней девушки, покоился совершенно целомудренный чистый свет. Светлая, спокойная сила как бы исходила особенно от ее лба, ставшего теперь заметнее, покатее, в блеске слоновой кости, точно створка древнего молитвенника.

Лиза и теперь сохранила свежесть и худобу двадцатилетней. В Россию она наезжала очень редко. В семьях подруг, потучневших или почахших, многодетных, она всем была тетей, а когда умерла младшая из англичанок, та веснущатая, курившая из озорства испанские пахитосы, Лиза взялась воспитывать двух ее, тоже веснущатых, бурных и гордых девочек.

В Петербург, после смерти отца, она вернулась, развязаться с делами, наследством и уехать навсегда в Лондон, где жила теперь постоянно.

Ей нравилась гармоническая, умышленная мощь гранитных набережных и казенных колоннад Невской столицы, но не очень она верила этой выравненной в линию мертвой красоте, мертвому фасаду, а от холодного величия у нее было чувство скуки.

В Петербурге, за его фасадами, был для нее живым, настоящим, тревожным, как и двадцать лет назад, один Мусоргский. Она приехала с тайным желанием повидаться с ним.

Орфанти, старая девушка с ее суровой и ясной скромностью, эта полуитальянка, ставшая англичанкой, должна бы была начисто забыть свое девическое увлечение белокурым молодым офицером.

Но она ничего не забыла, ни одного чувства, и как светился снег на канале, когда бежала она со свидания, и как почтовый ящик с двуглавым орлом, под аркой Главного Штаба, показался ей крошечным гробом.

Вероятно так и каждый человек, совершенно немо, сокровенно, скрывая от всех, и часто от себя, несет, не забывая то, что Кто-то выбирает для него из всего шума и суеты жизни, запечатлевает навеки, для иного нездешнего бытия.

Мусоргский навеки запечатлелся Лизе Орфанти, и в свой приезд в Петербург, она без всякого волнения, с чувством ясного покоя, решила пойти к нему, рассказать о своей девичьей любви и хорошо попрощаться навсегда.

Она знала, что Мусоргский пьет, что его жизнь влачится от ночи к ночи в «Малом Ярославце», что он опустился. Жалости к опустившемуся человеку ей не хотелось примешивать к своему неприкосновенному

чувству. Только чувство жалости удерживало ее от свидания. Потом она подумала, что Мусоргский, каким бы он ни был теперь, уже сделал, к чему был призван: свое дышащее, прекрасное, вдохновенное, он уже внес в жизнь, и тем помог преображению мира.

Тогда она пошла к нему, той же дорогой, что двадцать лет перед тем.

Был тихий зимний день. Прелестные легкие следы старой девушки мелькали на снегу, вдоль канала. Лиза почему-то была уверена, что увидит Мусоргского и то, что они скажут друг другу, будет необыкновенным утешением и оправданием для обоих.

Стали попадаться трактиры, извозчичьи дворы, торговые бани. Из ворот валил теплый пар, почерневший снег был размешан копытами, уличные женщины со смехом выходили из портерных, дребезжа дверями, сапожник, в мутно светящемся окне подвала, согнувшись, стучал молотком по подошве. Это был Петербург за фасадом, настоящий, неуютный, грязный, с его снующей неряшливой беднотой.

Орфанти вышла на тихий канал, над которым стоял зимний туман. Барки с дровами, побелевшие от снега, казались ей теми самыми, что и двадцать лет назад, и так же курился морозный пар.

На ее первый звнок никто не отозвался. Решительно и сильно она позвонила второй раз.

Послышались шаркающие, вялые шаги, ключ в замке повертелся с ржавым визгом, и Мусоргский отворил дверь.

Она все же не ждала увидеть его таким. Он был ужасен в своих стоптанных туфлях, в зеленом ватном халате, заношенном до плешин, с выбившейся грязной ватой. Но в его набрякшем, больном лице с выкаченны-

ми мутными глазами, желтом, одутловатом, сквозило что-то давнишнее, тонкое и стремительное.

Мусоргский не узнал ее, сказал равнодушно и грубо, оглядывая с неприязнью:

— Чего вам надо, вы не туда попали...

Но по тому, как подняла она сияющие глаза, он узнал Лизу, да она и не изменилась, только потончали черты и еще краше проступала ее целомудренная девичья нетронутость.

Мусоргский отступил. Неверно, не попадая рукой в петли халата, он то запахивал зеленые полы, то подергивал на животе исподнее белье, и отступал пораженный.

Лиза шла за ним.

Он пятился до самого кабинетика, сел тяжело в кресло. Она окинула взглядом его угол: груды бумаги, пожелтевшие газеты, все нагромождено, неопрятно.

— Зачем пришли? — сказал, наконец, Мусоргский с раздражением. — Зачем пожаловали? Кого, кого, но вас не мог ждать никак. К чему это посещение? Я думал, вы умерли, вы так же могли бы думать обо мне. Зачем вы, на самом деле, пришли? .. Или вы хотите купить что-нибудь из моих трудов праведных и неправедных? Тогда, пожалуйста. Намедни у меня тоже был любитель музыки, есть такой ценитель, любитель, Тертий такой, Иванович, он у меня за двадцать пять целковых...

— Нет, я ничего не думала покупать.

Лиза почувствовала к глубокому стыду, что на глазах выступают нечаянные слезы. Она вдохнула сильно, сквозь ноздри, мгновенно подавила слезы, ее лицо стало твердым, покойным, и теперь было заметнее, как она постарела и как сухо отблескивает ее лоб, точно слоновая кость, створка молитвенника.

— Я сама не знаю, зачем, — сказала Лиза с легким акцентом (она давно не говорила по-русски): — я вас любила, потому и пришла. И теперь люблю, вот почему. Вы мой человек на этом свете. И на том. Вот двадцать лет прошло, и жизнь пройдет, ваша и моя, но покуда жива, мне кажется, тут где-то, во мне, не знаю, как сказать, всегда останется этот свет, чудо, таинство, что я вас любила и люблю.

Лиза улыбнулась, ей стало вдруг легко, точно что-то осветилось в ней, и отошло темное, ее тяготившее.

— Извините, я так внезапно говорю вам это. Простите меня. Отчасти, вероятно, восторженность старой девы, которой дана была Богом такая бесплотная, неразделенная любовь. Отчасти же, вероятно, эгоистическое желание освободиться от чего-то недоговоренного, недосказанного, что легло между нами. Всегда, больше всего, я желала, чтобы вы знали, что я вас любила и люблю. Помните, вы говорили мне за роялью, как странна жизнь, как страшна, о том, что Шуберт ослеп . . .

— Шуберт, Шуберт, Боже мой, помню, но я же тогда нарочно о Шуберте . . .

— Не перебивайте меня, прошу. И вот, теперь, какой бы вы ни были передо мною, простите, но вино сделало вас ужасным, вы все тот же для меня. И навеки. Вот и все. Вы можете счесть это дурью старой девы, но я очень благодарна вам, что вы выслушали мою стародевическую болтовню. Теперь я могу уйти . . . Хорошо попрощаться с вами, и уйти.

Мусоргский, оперши на руку тяжелую, залохмаченую голову, смотрел на нее. Потом закрыл глаза и его набухшие веки, в лиловых ветках жил, стали трудно дрожать.

Он плакал беззвучно. Это не были обильные слезы со всхлипываниями, какие нравились ему и какие он мог легко вызывать у себя в кабацких горьких сетованиях, а точно из самой глубины его отделялось что-то, тяжко пробиваясь, роя путанные тропы в колючих терниях, по острым скалам, выскребывая ему душу, и подымалось к набрякшим векам.

— Лизанька, Лизанька, — повторял он.

Орфанти тронула его за плечо халата, в клочьях грязной ваты.

— Но вот это уж незачем, Модест Петрович.

— Лизанька, а она то, она . . . Вы что-нибудь знали об Анне?

— Все.

— Она утопилась.

Он поднял большое лицо, обрюзгшее, пожелтевшее, с закрытыми дрожащими веками, из-под которых катились медленные, точно железные, слезы.

Он поднял к ней ужасное лицо ослепшего царя Эдипа, и бормотал с беспомощным отчаянием:

— Но почему же, почему же, почему, она утопилась? Это я виноват . . . Она говорила, зачем разбудил ее. Ты мертвеца воскресил, для чего ты мертвеца воскресил . . . Я виноват, Боже мой, что я сделал.

Он вдруг больно сжал Лизе руку:

— Оглянитесь, смотрите . . .

Она обернулась и в углу, высоко за собой, увидела черный образ, в трещинах. Краснел каленый ангельский плащ, едва проступал узкий лик.

— Вижу. Образ.

— Серафим.

— Не пугайте меня . . .

Лиза пыталась высвободить руку, он держал ее крепко:

— Нет, не пугаю. Я понимаю, я с отчаяния богохульствую. Дураки и дуры скажут, что я полюбил потаскуху... Нет: одну мелодию Анны полюбил... Серафим, втоптанный в землю... Господи, прости меня... Да, представлялось, ангелы в раю прикованы к железным арфам. И, может быть, как на земле томится все по небесному, так и в райской гармонии томятся, по крови, дыму грешной земли... Как и кто может вкушать райское блаженство, когда здесь, на земле остался тот же грех, то же проклятие, смерть, тьма... Как?.. И Серафим возжелал уйти из райских селений. И был за то сброшен сюда, осужден сгореть здесь в самых последних терзаниях греха... А я в метели услышал пение... Понес его железное крыло... Я угадал Серафима... Господи... Я стал на дороге Твоего суда... Как Иаков, боролся с Тобою... Но Ты простил Серафима... Анна не утопилась, нет... Она оступилась в потемках, на Невке... Так, взял ее к себе Господь. А ее земной крест остался на мне...

Лиза слушала внимательно и удивленно. Ей вспомнилось, как покойная тетка, грозя сухим пальцем, громко, по-немецки, читала как-то Притчи Соломона.

— Вино глумливо, сикера буйна, — сказала Лиза, неожиданно для себя, и повторила. — Вино глумливо... Все, что вы рассказывали очень красиво, но простите, во всем что-то жалкое. Это малодушный бред, малодушный бунт. Это кощунство, Модест Петрович...

Мусоргский, уже утихший, посмотрел на нее, как ребенок, кротко и виновато. Он согласился охотно, со слабой усмешкой:

— Я не кощунствовал. Но, конечно, бред, я же сам понимаю. Перед вами пьяный фантаст, и только...

Лиза промолчала. Мусоргский поискал на столе скомканный нечистый платок, утер большое лицо:

— Вы, Лиза, всегда были сильнее меня. Конечно, я слабодушный. И ангелы, прикованные к железным арфам, конечно, тоже лепет салобдушия. Но было одно, что разбило меня... Я скажу вам... Странное вдохновение меня осенило, когда пришла Анна. Дуновение огня коснулось. С нею верил, знал, жаждал, что моя музыка будет, как новое откровение. Музыка, моя музыка, будет началом преображения людей. Понимаете, я верил, что именно я, Модест Мусоргский, отмечен, избран, как новая жертва. Чаша мира за всех и за вся. И когда-то мальчишка-офицер был готов отдать себя в жертву за мир, за всех людей... Се — человек... Это тоже бред?

— Нет. А что дальше?

— А дальше... Это уже когда не было Анны... Дальше я понял, что ничего не преобразить, не переменить на земле, куда мне. И, как до меня, так и после меня, все будет валом валить, сплошь, в бессмысленную тьму, в прорву смерти. И не мне открыть, не мне сочетать в одну божественную гармонию мир, разорванный тьмою противорчий. Вот что я понял. И тогда мне стало все равно... Я не вынес земли, вот что.

— Но это же неверно.

— Как неверно?

Мусоргский по детски удивился:

— Нет, Лиза, это верно.

— Простите, Модест Петрович, неверно. Не мне вам говорить, но то, что вами сделано, как бы ни сложилась ваша жизнь, ведь уже сделано... Уже живет, помимо вас, кроме вас. Ваша музыка. Неужели же вам объяснять, что ваша музыка переменила что-то в нашем ми-

ре, или, как вы говорите, преобразила нас. Поймите сами, Модест Петрович.

Мусоргский пошевелил пальцами, сжимая платок:

— Вы пришли меня утешать, Лиза?

— Ничуть. Ни утешать, ни жалеть. Это не к чему. Но разве это не так, разве вы не победили вашей музыкой . . .

— Победил! Что я победил? Ничего . . . А смерть?

Сильный свет блеснул в его мутных глазах, большое лицо напряглось, он поднялся, всклокоченный, страшный, в халате, сбившемся горбом на спине, закричал с яростью:

— А смерть? Смерть, безносая, бездарная дура, все сотрет, все смоет . . . Ни звука, ни памяти о нас. Ничего.

Он забыл о Лизе, и не ей кричал, а кому-то, кто вечно раздирал его неумолкаемой распрей:

— Все прах! Смерть, бездарная дура, всех сильнее! Врешь, не всех! Врешь! . .

Как чудовищная жаба, он прыгнул со стула, показав под зеленым халатом нечистое исподнее белье, навалился грузным телом на пианино, ударил резко, нестройно, по клавишам.

— Врешь, ага! . . А это? Врешь, это останется . . . Звук наш останется, звук, слово бесплотное, звук нашей любви, отрады, горя, страдания, искания, утешения . . . Звук, звук . . .

Он припал головой к пианино и, тяжело дыша, повторял: «утешение, звук». Потом вспрянул, кинулся к столу.

Дрожащими руками стал собирать пожелтевшие листки, ночные записки, одни прожженные брошенной спичкой, другие измятые, в темных кругах от поставленного стакана вина. Как скупец, рылся в бумагах скорченными пальцами:

— Ага, — жадно и страшно дышал он, прижимаясь щекой к измятой груде, комкая, тиская ее. — Ага, врешь... Не все исчезнет, нет, врешь... Нет... Жизнь всегда истина, как бы горька она ни была... И тут есть жизнь, есть кой в чем мелодия посильнее смерти... Все раскрывающая, все умиротворяющая песня Твоя... Господи, помилуй мя, грешного... Мелодия Твоя, — звук...

Лиза поняла, что все, что он говорит, верно, прекрасно, но поняла она также, что этот обрюзгший от вина, изнемогающий, тяжко дышащий человек, болен смертельно.

— Успокойтесь, — тихо сказала она, кладя руку ему на плечо. — Так все и есть, как вы сказали. Все верно. Успокойтесь же...

Он взял ее руку в обе, прижался горячим лицом, совершенно по детски:

— Лизанька, я спокоен, Лизанька. Кто вы, почему пришли утешать меня, чистейшая тишина, последнее успокоение?.. Кто вы такая, Лиза Орфанти?.. Чудно сказать, но никогда я не забывал вас. И точно вы и Анна — одно... Только двоитесь: одна земная, другая небесная... Но мелодия одна.

— Полно, что скажете.

— Вы всегда были недосягаемой для меня, потому я и не верил в мою любовь... Мне было назначено другое, вот с таким, как видите, концом: опустившийся человек, сгоревшее от вина несчастное отребье... Анна мой крест... Я всегда шел под моим крестом, и вся моя музыка была об одном: о человеке без имени, с его горем, отрадой, страданием... Но я нес мой крест к одной вам, недосягаемой, чистейшей... Лиза Орфанти?.. Нет, — Святая Елизавета...

— Это, как средневековая мистерия о человеке, — прелестно улыбнулась Лиза, скрывая смущение.

— Конечно. Все мистерия... Каждый человек повторяет Его Распятие. И может быть, мы еще встретимся там, если только то есть, — там, где совершенная гармония, где разбойник, просивший помянуть его... Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

— Так будет.

— Постойте, — оживился Мусоргский, прикладывая палец к губам. — Постойте, а какой номер башмаков вы носите?

Лиза смутилась от внезапного вопроса, чуть покраснел лоб, створка старинного молитвенника:

— Тридцать пять, а что?

— А вот, вот...

Похожий в халате на неуклюжую жабу, он прыгнул к дивану, нагнулся, вытащил коробку с башмаками, какую всегда берег в своем тощем чемодане, сдунул пыль и подал Лизе старомодный башмак, кожа от давности в трещинах, верх вырезан сердцем.

— Вот... Анне так и не подарил... Вот, примерьте.

Лиза посмотрела на его большое лицо, на влажный лоб, снова подумала: «Он болен, болен», и шутливо сказала:

— Хорошо, давайте.

Старая девушка столкнула изящным и простым движением с узкой ноги свою туфельку и надела башмак, поданный Мусоргским.

Мусоргский стоял перед нею на коленях. Башмак пришелся Лизе как раз.

— Вот, видите, видите, — обрадовался Мусоргский, — я же говорил, что впору...

И погладил башмак. Она застенчиво усмехнулась, потом поставила башмак на коробку, и просто сказала:

— А теперь пора . . . Теперь нам надобно прощаться, Модест Петрович.

Он засуетился, хотел надевать сюртук, шубу, чтобы проводить ее, но она отказалась твердо и спокойно. Он подчинился без долгих споров.

У дверей, когда Мусоргский искал ключ, Лиза внезапно откинула с лица вуаль, наклонилась и поцеловала его полную, не очень чистую руку, как целуют покойникам.

В тот же вечер Лиза Орфанти уехала из Петербурга за границу, навсегда.

ГОСПИТАЛЬ

В начале февраля 1881 года Мусоргского отвезли в больницу.

Одни приятели советовали частную лечебницу, другие, чтобы не терять времени, настаивали везти хотя бы в Обуховскую и, наконец, во всей этой суете, вспомнили, что Мусоргский отставной офицер и тогда повезли его на извозчике в военный госпиталь. Дрожащий, с посиневшими губами, он жаловался на сильную простуду, у него был нервный удар, на ноге началось рожистое воспаление.

В Николаевском военном госпитале, близ Смольного, когда служитель повел его под руку в палату, Мусоргский в сером лазаретном халате и в теплых туфлях, вспомнил, что это уже было с ним, и это хорошо, что так было, точно к нему возвращается по иному вся жизнь. Он вспомнил, как много лет назад, молодым офицером, в дежурство, любил смотреть из госпитального окна, на торжественный, великолепный закат, небесное пылание над Петербургом.

Особенно хорошо был виден закат из углового окна 2-го военного сухопутного. Он вспомнил госпиталь, морозную ночь, в тайном шевелении звезд, и лекаря, синеглазого Шумановского Мечтателя.

Мусоргский покорно лег на койку, в углу. Пустая койка рядом была застелена суровой холщевой простыней, в дурно замытых пятнах: умершего вынесли вчера в мертвецкую.

Мусоргский лег с удовольствием, необыкновенно спокойно, под жесткое солдатское одеяло. Было тепло, удобно. Казалось, он вернулся в свой дом, после очень долгого, нелепого, истомляющего, по пустяшному суетливого и ненужного путешествия. Наконец-то он может отдохнуть . . .

Больничные стены, крашеные в серое окна, замазанные известкой, не томили, не тяготили его. Ему казалось, что именно два эти тона, серый и белый, и есть самое главное, последнее, настоящее, что остается от всего на свете, как бы самый остов бытия. В бело-сером молчании у него тоже будет только самое главное, настоящее, для чего надо было жить.

Он радовался неожиданному отдохновению госпиталя. Не задыхаясь, не торопясь перехватить где-нибудь трешницу или пятерку, ни с кем не споря о музыке, России, Боге, ни о ком и ни о чем не думая, он может хорошо полежать здесь, в тишине, один, рядом с пустой койкой, застланной суровой холстиной.

Художник Репин, приехавший из Москвы на выставку, четыре мартовских дня писал Мусоргского в госпитале.

Погода стояла чудесная. Палата Мусоргского была залита солнцем. У Репина не было мольберта и он кое-как примостился за больничным столиком.

Четыре дня он писал больного в том самом халате, какой был ему подарен с генеральского плеча.

А на пятый день Репина к Мусоргскому не пустили. У больного начался лихорадочный жар.

Он думал, что унего только сильная простуда, с ногой пустяк, и опасался как бы равнодушные доктора, после осмотра, не назначили его на выписку.

А он охотно полежал бы в тишине, он мог бы что-то обдумать, что-то исправить здесь. Его работы, Борис, Хованщина, Шабаш, Песни и Пляски Смерти, о которых больше всего говорят, все его работы, сырые, недозрелые, похожи на его скомканные рукописи, прожженные папиросами, залитые вином. А здесь он исправит их, разгладит, и станет все классически светиться, как белый снег.

Критики его бранят за дурную оркестровку, он и без них знает, что оркестровка дурна. В госпитале он твердо решил почитать об инструментах, и очень радовался, что позволили оставить на табурете, у койки, захваченный с собою, потрепанный и пожелтевший, как старая Библия, «Трактат об инструментах» Берлиоза. Трактата, он, правда, не тронул.

А больше всего он радовался тому, что от окна на табурет ложится вечером мартовское солнце, холодное, величаво багряное. Он всегда любил солнечные закаты.

Когда его осматривали, он полусидел на койке, послушно дыша, глубоко набирая воздуха в грудь, как ему приказывали. Военный доктор с жесткой седой головой, остриженный ежом, водил холодной черной трубкой по его спине. Мусоргский стыдился своего рыхлого, горячего и бессильного тела, и того, как дрожат руки, особенно локти.

Иногда он пытался поговорить с доктором, и на вопрос о самочувствии, отвечал лихорадочно:

— Хорошо, благодарю, очень хорошо . . . А я, знаете, доктор, все музыку слышу. Всегда музыку, церковные хоры . . .

Госпитальный врач (он был утомлен обходом палат, осмотром таких же желтых, горячих тел, и досадовал, что опаздывает домой к обеду) отвечал с равнодушной улыбкой, потирая жесткий еж:

— Ну, еще бы . . . Вы же музыкант. Вот вам и слышны церковные хоры.

Доктора нашли у него признаки не то белой горячки, не то падучей, и совершенно изношенное в сорок один год сердце.

Вечером, в начале марта, лазаретный служитель принес и бесшумно поставил в ногах его постели невысокие ширмы с серым экраном: главный врач приказал отделить его от других в палате.

Мусоргский лежал тихо. Он думал, хорошо, что его отделили, какой хороший этот служитель, все так и надо, как с ним делают, и если он умирает, это тоже так надо. Его жизнь и смерть только повторение жизни и смерти всех людей, всех теней, смутно движущихся куда-то по белому потолку палаты.

Он тень. Вот он, тень, отдохнет, там, в углу, на потолке, наверху, а потом вернется на землю, снова наденет сюртук, сапоги, и сделает все самое главное, самое настоящее, чего не успел сделать. Он знает, что за чистое сердце он избран гением. Но ему вовсе не надо, какой он там гений.

— Право же не надо . . . Зачем, благодарю вас . . . Только одного прошу, сердце чисто созижди во мне . . .

А главное, удивительно: Анна ходит у него по кабинетику, до того похудевшая, и, вероятно, тоже простужена, до того прозрачная, что видно сквозь бетист кофточки, как у нее в груди колотится сердце. Светлый огонь. И от огня душно. Душно.

— Я, Аня, чистое сердце . . . Но зачем же огонь, душно.

А это не Анна, а Серафим. Серафим стоит в ногах лазаретной койки. Сомкнуты уста Серафима, раскрыты недвижные, изумрудно прозрачные глаза, смотрит, а в руках сердце Анны, светлый огонь, трепещет, бьется.

— Не может быть... Это картина. Я где-то видел такую дешевую католическую картинку; ангел несет в руках горящее сердце...

И ушла Анна, зачем все уходит: придет, уйдет. Странная. Теперь за окном сидит, свернулась у самого окна, смотрит сквозь мутное стекло. Глаза изумрудные, недвижные.

— Эх, Анна, как же так, Анна...

Как ему за нею в окно? Опять искать. Она сольется с сумрачной петербургской мглой, исчезнет, а он устал, у него тяжелое тело, сердце колотится, врачи сказали, сердце никуда, а ему по такому холоду, на петербургской заре, лететь, лететь, разыскивая ее, глупость какая.

— Эх, Анна, как же так, Анна...

Это не он говорит «эх, Анна», а он с медиком Бородиным на дежурстве во втором сухопутном, генварь 1856 год, холодина какой, а медик толкует о жаркой Азии, золоте Византии. На койке умирает солдат, пожилой, похожий на Николая Первого, бормочет костлявый солдат горячо, беспрестанно:

— Эх, Анна, как же так, Анна...

И никто не понимает солдата, никто не знает о нем ничего, и чье имя бормочет.

— Кандидат, — тихо говорит Бородин, с прохладной усмешкой.

— Да, да, знаю: вы уже говорили... В мертвецкую.

Бородин кивает головой:

— Вот теперь вы все понимаете, Мусоргский... Вы мудрым стали, и я вам должен сказать, что ее тут нет.

— Знаю... Только я все же могу ее найти, не правда ли?

Теперь все понятно, он во втором сухопутном разыскивает Анну. Она ждет его в коридоре. Вот какой громадный коридор. Сквозняком подуло. А к нему подходит Лиза Орфанти. Берет за рукав:

— Пойдемте, какой вы право, Модест Петрович, безалаберный... Всегда опаздываете.

— Конечно, я знаю, это мой малодушный бред, извините меня... Но почему вы в синем плаще?

Самое удивительное, что Лиза светлым лицом, нос с горбинкой, удивительно как похожа на Анну.

— Боже мой, постойте, кто вы, Лиза...

Сердце заколотилось больно, сильно, а доктора говорят, нельзя, чтобы колотилось. И главное, почему на синем плаще нашиты звзеды, живые, шевелятся, сияют. Что за рождественский маскарад, и почему ведете меня за руку, как ребенка... Впрочем вы всегда были гувернанткой... Вы, Лиза, небесная гувернантка.

Она молчит. Слышно пение. Несомненно, согласное пение, далекий хор, похоже, за всенощной поют архиерейские певчие. А вот, дворовая шарманка застонала, и трактирные арфы. Как бедна оркестровка человеческая, как жалостна.

Господи, так это и есть Твоя музыка, какая бедность, какая простота, а я-то думал трактат Берлиоза об инструментах...

Лиза привела его в рождественский кукольный театр, а там, по золоченой лестнице, видно, она оклеена золоченой бумагой, сходят и восходят такие же, как Лиза, нос чуточку с горбинкой, все в синих плащах, на них шевелятся живые звезды.

И всех выше, в короне, тоже из золоченой бумаги, от нее восходит волнами свет, в синей мантии, изливающей звезды, стоит Кто-то.

И те, кто восходит, и кто сходит, и те, кто стоит вдоль золотой лестницы, а у нее нет конца, все играют на арфах, и у всех белые, мягкие крылья, от крыльев мерцающий светлый туман. Детский театр, дети играют в рай.

А в вышине, в облаках, то заволакивается, то проясняется сияющая корона.

— Лиза, куда вы меня привели... Мне нельзя сюда... Я же грешный, грязный, несчастный, я, последний пьяница...

— Идите, Модест Петрович, ничего... Можно.

И он идет за нею по ступенькам, какое странное прозрачное золото, точно он идет по утренней заре, сердце колотится, доктора предупреждали — не выдержит, он идет. Вестовой Анисим смотрит на него, удивительный в солдатском преображенском мундире, а за спиной белые крылья и звенящая кадильница в руке.

Мусоргский радостно рассмеялся:

— Анисим, до чего же ты удивительный, — кадильница... Этого же не может быть... А ты слышишь?

— Может, ваше благородие... Идите... А я теперь все слухать могу.

Он идет в облаках. Жалостная смутная музыка подымается от земли, тихий шум дворовых шарманок и арф.

— Какая простая, бедная, святая музыка... Я все понял... Не оркестровки, не Берлиоз... А вот какую музыку надо на земле слышать... Я услышал, Господи, Музыку Твою... Господи, я услышал...

А в руках он несет, оказывается, башмаки в коробке, коробка сияет снопами лучей, те самые, какие купил когда-то на Невском проспекте в подарок Анне, бедной арфянке, чтобы сменила свои земные башмаки приютской сиротки.

Он идет в облаках с коробкой, в развевающемся больничном халате, в туфлях с чужой ноги, все выше, все легче, просторнее, или его несут.

Его несут громадные белые крылья, и звучит каждое белое перо, поет.

— Не смею... Матерь Пречистая, прости, не смею лететь... Прости нас всех, грешных... Прими Твою землю к Себе, всех нас, всех, землю... Матерь Пречистая.

В пятом часу утра, едва светало, 16 марта 1881 года, в радостном и быстром бреду Мусоргский скончался, на сорок втором году жизни, от паралича сердца, на жесткой койке Николаевского военного госпиталя, за невысокой серой ширмой.

Париж, 1936 г.

Конец.

Того же автора:

1. Голое поле (книга о Галлиполи), 1929, Болгария.
2. Дом усопших (поэма), 1922, Берлин.
3. Дьявол (поэма), 1922, Берлин.
4. Чёрт на гауптвахте (три петербургских повести), 1922, Берлин.
5. Бел-цвет (роман), 1923, Берлин.
6. Граф Калиостро (повесть), 1925, Берлин.
7. Сны Петра (трилогия в рассказах), 1931, Белград.
8. Дворцовые гренадеры (сборник рассказов), 1928, Париж.
9. Пожар Москвы (роман), 1928, Париж.
10. Вьюга (роман), 1936, Париж.
11. Дроздовцы в огне (по рассказам и материалам ген. Туркула), 1957, Белград.
12. Ветер Карпат (роман), 1938, Париж.
13. Бедная любовь Мусоргского (роман), 1940, Париж.

«Пожар Москвы» переведен на немецкий и английский языки; «Бедная любовь Мусогского» переведена на французский и испанский языки.

СЕВЕРЯНИН, ИГОРЬ Собрание поэм в четырех томах. Переиздание. Т. 1. Громокипящий кубок. 202 стр. 2.50

Т. 2. Златолира. 215 стр. 2.50

СОДРУЖЕСТВО — Из современной поэзии Русского Зарубежья. 565 стр. 6.00

В твердом переплете 7.00

СОЛОВЬЕВ, ВСЕВОЛОД — Хроника четых поколений:

Сергей Горбатов, историч. роман в 2 кн. 228+258 стр. 4.50

Вольтерьянец, историч. роман в 2 кн. 254 +244 стр. 5.00

Старый Дом, историч. роман в 2 кн. 254+268 стр. 6.00

Изгнанник, историч. роман в 2 кн. 251+244 стр. 6.00

Последние Горбатовы, историч. роман в 2 кн. 174+276 стр. 5.50

СТОЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА ПРИХОДА РУССКИХ ЭСКАДР В США.

Статьи: В. П. Петрова, А. Г. Тарсаидзе, А. Долгополова. 84 стр. Иллюстр. . . 1.50

ТЕРАПИАНО, Ю. — Избранные стихи. 110 стр. 1.50

УЛЬЯНОВ, Н. И. — Северный Тальма. К 150-летию взятия русскими войсками Парижа в 1814 г. 32 стр. 1.00

ФЕСЕНКО, Т. — Глазами туриста. Европейские впечатления. 142 стр. 2.00

ФЕДОРОВА, НИНА — Жизнь. Роман в трех книгах. 204+217+273 стр. 7.50

ФИЛИППОВ, Б. А. — Кресты и перекрестки. Очерки и рассказы. 160 стр. . . . 1.50

КОРН, Д. — Русский глагол. 277 стр. . . . 4.50

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА СКЛАД
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США И КАНАДЕ:

АДОЛЕНКО, С. — Нагрудные знаки русской армии. Париж, 1966. 227 стр. 6.00

АНДРОНИК, архим. — Восемнадцать лет в Индии. Б. Айрес, 1959. 354 стр. . . . 2.00

БЕРЕЗОВ, Р. — Раздумья. Лирика. Брайт.,1966. 62 стр. 1.00

„ Звезда, рассказы. Сакраменто, 1966. 155 стр. 2.00

БЕРТЕНСОН, С. — Вокруг искусства. Холливуд. 413 стр. 3.50

„ В Холливуде с В. И. Немировичем-Данченко (1926—1927). По материалам архива С. Л. Бертенсона составил К. Аренский. 1964. 168 стр. . 2.00

БОЛОТИНА, КЛЕОПАТРА — Русская душа в изгнании. Рассказы. 1967. 186 стр. . . 3.00

ВАТАНОВ, Н. — Метелица. Сборник юмористических рассказов. 1962. 235 стр. . . . 2.00

ГОРБОВ, Я. Н. — Все отношения. Роман. Париж, 1964. 211 стр. 3.00

„ Асунта. Роман. Париж, 1967. 152 стр. 2.10

ГРЕБЕНЩИКОВ, Г. — Егоркина жизнь. Автобиографическая повесть. 1966. 347 стр. . . 3.50

ГУЛЬ, РОМАН — Скиф в Европе (Бакунин и Николай I). Н. Йорк, 1958. 207 стр. . . . 2.60

ДИТЕРИХС ф-ДИТРИХШТЕЙН — Собрание стихов. Брюссель. 162 стр. 1.50

ДОЛГОРУКОВ, П. Д., кн. — Великая разруха. Мадрид, 1964. 459 стр. 4.50

ЗВЕГИНЦОВ, В. Н. — Кавалергарды в великую и гражданскую войну 1914—1920 год. Париж, 1966. 206 стр. 4.20

ЗУРАЕВ, А. П. — Северные Иранцы Восточной Европы и Северного Кавказа. Т. 1. Нью-Йорк. 339 стр. 6.00

К. Р. — Полное собрание сочинений. Т I. Лирические стихотворения. 190 стр. 1965. . . 3.20

Том 2. Париж, 1966. 169 стр. 3.70

КАРАТЕЕВ, М. — Железный Хромец, Историч. роман. Париж, 1967. 241 стр. . . 5.00

„ Возвращение. Историч. роман. Париж. 258 стр. 5.00

КВЕСИТ, ЕВГЕНИЯ — Голубые дороги. Стихи. 1930—1967. 32 стр. 1.00

КОНДЗЕРОВСКИЙ, П. К., ген.-лейт. — В Ставке Верховного 1914—1917. Воспоминания Дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем. Париж, 1967. 129 стр. . . 2.20

ЛАХМАН, ГИЗЕЛЛА — Пленные слова. Стихи. Н. Иорк. 1.50

ЛЕШИН, В. И. — Великие потрясения. Роман. Мюнхен, 1966. 244 стр. 3.50

МАГУЛА, Д. А. — Фата Моргана. Нью-Йорк, 1963. 94 стр. 2.00

„ Свет вечерний. Париж, 1931. 140 стр. 2.00

МАСЛЕЙ, ОЛЬГА — Сами по себе. Роман. Н. Иорк 1967. 330 стр. 5.00

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ. Вып.1. Нью-Йорк, 1965. 42 стр. 1.50

НИКИФОРОВ-ВОЛГИН, В. — Земля именинница. Рассказы. 182 стр. 1.50

ПЕРСИДСКАЯ, ЛИДИЯ — Сказки. Иллюстр. 119 стр. Н. Иорк. 2.50

ПОЛТОРАЦКИЙ, Н. — Бердяев и Россия. (Философия истории России у Н. А. Бердяева). Нью-Йорк. 262 стр. 3.75

РАХМАНОВ, В., проф. — Без доктора. (Лечение болезней светом, воздухом, водой, теплом, холодом). Н. Иорк. 94 стр. 1.50

РУБИСОВА, ЕЛЕНА — Огни Азии. Путешествие на Восток. Богато иллюстр. издание на меловой бумаге. Париж, 1961. 363 стр. . . . 4.50

РУБИСОВ, Г. — Судьба или сила совершаемости. (Квадрилогия, пьеса в 4 действиях). Париж, 1963. 207 стр. 2.50

СБОРНИК ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА ПОЭТА. К. Р.. Париж, 1962. 144 стр. . . . 3.00

СТРАННИК — Книга лирики. Париж, 1966. 44 стр. 1.00

УОЛЛЕС, Э. — Тройка из Кордовы. Роман. Бруклин. 160 стр. 2.00

ЯКОНОВСКИЙ, ЕВГЕНИЙ — Водяные лилии. Роман. Париж, 1962. 132 стр. 1.50

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ КНИГ НА СКЛАД
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США И КАНАДЕ.